

— ДНК-ДРАМА —



ГОЛОС ЗЕМЛИ

ЕЛЕНА ХРОМОВА

18+

Елена Хромова

ДНК-драма. Голос земли

«Автор»

2026

Хромова Е.

ДНК-драма. Голос земли / Е. Хромова — «Автор», 2026

Мы можем помнить то, что пережили сами. События нашей жизни, людей и моменты, которые оставили в ней след. Но воспоминания могут переплетаться с нашими мечтами, страхами и тревогами. А иногда память выходит за пределы личного опыта и касается того, что хранится в коллективной памяти поколений. «ДНК-драма» — это художественное исследование внутреннего мира женщины. Это история, построенная из воспоминаний, в которые вплетаются мечты, страхи, тревоги и то, что приходит из глубины коллективной памяти. На границе между прошлым и настоящим героиня пытается понять, где заканчиваются чужие голоса и начинается её собственный. Что в ней принадлежит ей самой, а что было передано задолго до её рождения.

© Хромова Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Аннотация	5
Благодарность	6
Дисклеймер	7
Пролог. Точка распада	8
Глава 1. Сломанные крылья	14
Глава 2. Закон терпения	20
Глава 3. Отцовский закон	25
Продали	30
Глава 4. Внешняя опора	35
Глава 5. Покупка	40
Глава 6. Вход в систему	44
Глава 7. Юбка	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

ДНК-драма. Голос земли

Аннотация

Мы можем помнить то, что пережили сами. События нашей жизни, людей и моменты, которые оставили в ней след. Но воспоминания могут переплетаться с нашими мечтами, страхами и тревогами. А иногда память выходит за пределы личного опыта и касается того, что хранится в коллективном бессознательном поколений.

«ДНК-драма» — это история женщины, которая через память рода и собственные страхи сталкивается с тем, что скрыто глубже её личной истории. Ей предстоит пройти через опыт, который заставляет по-новому взглянуть на себя в поисках собственного голоса.

Благодарность

Я благодарна своему отцу и мужу за отсутствие опоры. За пустоту, к которой я перестала тянуться. Там, где никто не держал, я встала сама. Так появился мой голос. И моя идентичность.

Дисклеймер

Эта книга представляет собой личное исследование автора, основанное на наблюдениях, жизненном опыте и профессиональных размышлениях.

Все описанные персонажи, события и обстоятельства являются художественным обобщением. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или умершими, являются случайными.

В книге встречаются сцены, затрагивающие темы рождения, смерти, травматического опыта, эмоционального насилия и сложных человеческих отношений. Некоторые эпизоды основаны на исторических и культурных мотивах и используются как часть художественного исследования природы человека и памяти поколений.

Автор не ставит целью дать правовую или медицинскую оценку поступкам кого-либо, а лишь описывает субъективное восприятие происходившего с целью анализа психологических, социальных и биологических механизмов человеческого поведения.

Книга не направлена на дискредитацию конкретных лиц или организаций и не содержит утверждений, которые могут рассматриваться как факты.

Автор оставляет за собой право на художественную интерпретацию событий как часть творческого и исследовательского процесса.

Пролог. Точка распада

Я открываю глаза и сразу понимаю, что утро уже наступило. Что оно наступило без моего согласия. Что день стоит где-то рядом и ждёт, когда я поднимусь и признаю его. Свет проникает сквозь веки даже тогда, когда я их снова закрываю.

Черт... Снова утро. Снова день. Еще один день, который нужно прожить, пронести, вытерпеть, распределить по часам и обязанностям. Внутри меня уже нет ни пространства, ни запаса.

Я лежу, стараясь не шевелиться, как зверёк, притворившийся мертвым. Любое движение может меня выдать. Если я пошевелюсь, он проснется, и тогда день начнется окончательно. Без шансов на отсрочку. Я дышу неглубоко, делаю дыхание настолько незаметным, что даже сама перестаю его ощущать.

Где-то на кухне уже слышны голоса. Громкий разговор, чей-то смех и быстрые фразы, которые перебивают друг друга. Резкое звяканье посуды. Это столкновение чашек или что-то опять разбили? Кто-то ругается вполголоса. Я всё это слышу и замираю ещё сильнее, как будто могу исчезнуть между одеялом и матрасом. Я не хочу вставать. Я не хочу выходить туда и слушать претензии, участвовать в поиске вещей, объяснять, где что лежит и почему еда не такая вкусная.

Тело даёт о себе знать липкостью. Простыня подо мной мокрая и холодная, ткань прилипает к коже, и я сразу понимаю, что это не пот. Запах появляется чуть позже, сначала как смутный фон, потом как отчетливый факт. Резкий, сладковато-кислый, детский. Он ночью снял подгузник. Моя майка мокрая, штаны тяжелые и пропитанные. Простыня промокла насквозь, как и одеяло, даже подушка влажная на ощупь. Ночь пропитала все вокруг.

Я лежу в этом и не поднимаюсь. Во мне нет отвращения и потребности срочно всё смыть. Есть только одно желание. Не двигаться. Пусть так. Пусть я полежу еще немного, лишь бы никто меня не трогал, не звал, не требовал, лишь бы я не была нужна прямо сейчас.

Он начинает шевелиться. Не открывая глаз, спиной, кожей, всей поверхностью тела. Движения беспокойные, рваные. Нос заложен, дыхание тяжелое, вырывается сквозь приоткрытые губы. Я еще не прикоснулась к нему, но уже знаю, что он горячий. Значит, в сад не пойдем. Значит, мы снова будем здесь. Неделью точно. Он прижимается ко мне, и я уже вижу все, что нас ждет: сиропы, градусник, плач, капризы и редкие короткие промежутки тишины, в которые все равно нельзя расслабиться.

Внутри становится тесно. Мне некуда выйти. Я же сама этого хотела. Я сама выбрала декрет. Я помню ту точку, когда мне стало тяжело с людьми, когда разговоры начали утомлять, а чужие ожидания превратились в груз. Мне хотелось сделать длительную паузу и выйти из постоянного контакта с людьми. Декрет показался самым логичным и безопасным решением. Я шла к этому. Я радовалась. Я говорила себе, что это моё предназначение.

Голоса постепенно стихают. Слышно, как закрывается дверь. Они ушли. Я поднимаюсь медленно, стараясь не разбудить его окончательно. Он сразу тянется ко мне рукой во сне, ищет тепло, но через несколько секунд снова затихает. Я осторожно перекалдываю его на край кровати, достаю из шкафа другое одеяло и укрываю. Потом стягиваю простыню, снимаю наволочки, пододеяльник, снимаю с себя одежду и складываю всё вместе. Куча получается большая, бесформенная, пахнущая.

Я тащу эту кучу в ванную. Она тянет руки вниз, оставляет на коже влажный холод. Открываю стиральную машинку и сразу вижу вчерашние вещи, которые так и не были развешаны. Они закисло, напитались влагой и временем. Это значит, что всё придётся перестирать, всё без исключения. Мои глаза закрываются на секунду из-за этой глухой вины, которой даже не нужны объяснения.

Я заполняю ванну бельём. Всё вместе. Ночное, вчерашнее, мокрое, пропахшее. Ванная быстро превращается в беспорядок. Я укладываю своё тело на эту кучу, и мне становится спокойно. Не нужно быть аккуратной. Не нужно делать красиво. Я не боюсь, что сейчас откроется дверь и в неё зайдёт свекровь, посмотрит, оценит, начнёт причитать. После нашей ссоры она вычеркнула меня и детей. И в этом бардаке, в этой куче грязного белья, я чувствую почти удовольствие. Я могу не соответствовать. Могу не держать фасад. Могу быть небрежной и отвратительной.

Он появляется в дверях и плачет, отнимая у меня секунды удовольствия. Говорит, что у него болит головка. Я беру его на руки, и он сразу кажется тяжёлым и горячим. Жар проникает в мою кожу. Волосы мокрые от пота, он утыкается мне в шею и всхлипывает, цепляясь за меня всем телом.

Иногда мне кажется, что всё могло сложиться иначе. В свои сорок я могла бы быть кем-то другим. Просыпаться в чистой постели. Принимать душ в тишине. Не спеша выбирать одежду. Надевать белоснежную рубашку, хрустящую, свежую, без пятен и посторонних запахов. Выходить из дома и идти в офис. Пить кофе три раза за утро и разговаривать со взрослыми людьми.

Мы идём на кухню. После завтрака старшие оставили на столе беспорядок. Среди тарелок валяются куски сыра, разломанный хлеб, недоеденный бутерброд с ветчиной. Крошки рассыпаны по полу, под столом скомканные салфетки. В раковине громоздится гора грязной посуды, а осколки разбитой чашки уже лежат в мусорном ведре. Холодильник приоткрыт, внутри горит свет и стоят несколько случайных упаковок, которые ничего не решают. Значит, снова нужно идти в магазин и готовить. Прямо сейчас.

Я беру градусник. Руки делают всё сами. Они уже знают этот порядок лучше меня. Цифры загораются, мигают и замирают. Тридцать восемь и шесть. Нужно сбивать. Я тянусь за сиропом, беру мерный колпачок, наливаю вязкую розовую жидкость и слежу за уровнем, чтобы не перелить ни капли. Сироп густой и липкий, он медленно стекает по стенкам. Это движение раздражает больше, чем плач.

Ребенок мотает головой и плачет. Я тихо, почти шёпотом, говорю ему, что это сладкое, что этот сироп принёс зайчик. Что ему станет легче. Что мама рядом, мама его любит, мама его никому не отдаст. Я повторяю это снова и снова, как заклинание. Он выпивает эту мерзкую жижу, и я обнимаю его. Крепко прижимаю к себе, чувствую его жар, его слабость. Я здесь. Я рядом, мой дорогой.

Я включаю мультики почти сразу, нервным движением. Ловлю себя на том, что делаю это слишком быстро, почти поспешно. Чтобы хотя бы на несколько минут избавиться от его присутствия. Экран загорается яркими цветами, комнату наполняет весёлый звук. Ребёнок постепенно замирает, его взгляд прикован к движению на экране. Это тот редкий момент, когда я могу отойти. Я выхожу из комнаты и иду на кухню.

Нужно готовить. Аппетита нет, даже мысль о еде вызывает усталость. Я столько лет отвечала за обеды, ужины, полдники, перекусы, за бесконечный вопрос о том, кто что будет есть и кто от чего откажется. Я наливаю себе воды и жадно пью большими глотками. Потом достаю пакет с кашей. Я знаю, что ребёнок почти не станет её есть, но ритуал нужно соблюсти. Насыпаю жёлтый порошок в кастрюлю, заливаю водой, ставлю на сильный огонь и начинаю помешивать. Ложка ходит по кругу. Каша густеет. Я ненавижу готовить. Не могу вспомнить, когда именно разлюбила это занятие.

Из комнаты доносится его крик. Короткий, тянущий, как будто его резко выдернули из тёплого места. Я иду туда быстро. Мультфильмы с яркими машинками остановились. Я нажимаю на кнопки, промахиваюсь, нажимаю снова и начинаю ругаться вполголоса. Картинка возвращается. Яркие цвета снова заполняют экран, звук выравнивается, и он постепенно затихает. Всхлипывает ещё раз и замирает, будто его снова положили на место. Он просит воды. Я подношу кружку, он пьёт медленно, жадно с паузами. Вода стекает по его подбородку, я вытираю

своим рукавом — машинально, грубо, размазывая капли по лицу. Кажется, что моя аккуратность давно выпала из меня, как ненужная часть.

Я возвращаюсь на кухню. В воздухе уже стоит запах гари. Каша убежала, перелилась через край и начала пригорать. Внутри вспыхивает резкое раздражение. Я снова что-то упустила, снова отвлеклась, опять всё сделала криво. Я знаю, что муж потом спросит, чем пахнет. Что его раздражает этот запах. Что он всегда сравнивает меня со своей матерью, у которой всё получалось аккуратно и правильно. Даже когда он молчит, его взгляд всё равно сравнивает, отвращение ко мне, ощущается без слов.

Я снимаю верхний слой каши и перекладываю его в тарелку ребёнка, добавляю масло, ложку джема, делаю вид, что так и было задумано. Остатки заливаю водой из-под крана и отправляю в раковину, поверх той же шаткой башни из посуды.

Я беру тарелку и иду в комнату. Экран светится, в мультике кто-то весело говорит. Я подношу тарелку ближе, и он сразу отворачивается. Ложка замирает в воздухе. Я смотрю на его затылок, на это маленькое упрямое движение, и внутри что-то отпускает. Я говорю спокойно, почти равнодушно. Прекрасно... Разворачиваюсь и иду обратно на кухню.

Каша одним тяжёлым комком летит в мусорное ведро. Глухой звук. Тарелка летит в раковину, к кастрюле, которая уже там, в мутной воде, ждёт своей очереди. Внутри возникает странное облегчение. Он и не собирался есть эту кашу. Она пахла пригоревшим даже под джемом и маслом. Сил уговаривать, подсовывать, менять больше нет. Он смотрит мультик. Этого достаточно.

Я ставлю чайник. Пока вода нагревается, я возвращаюсь к обедкам, которые дети оставили после завтрака. Собираю прямо в ладони куски хлеба, сыра, недоеденный бутерброд с ветчиной и ем быстро, жадно, будто пытаюсь чем-то заполнить эту дыру внутри. Крошки падают на пол, я даже не смотрю вниз. Наливаю себе крепкий кофе и запиваю им все, обжигая язык и пальцы.

На верхней полке кухонного шкафа лежит блистер, наполненный белыми, как известь, таблетками. Он сразу бросается в глаза. Я смотрю на него дольше, чем нужно. В этом маленьком блистере помещается весь мой провал, который теперь можно держать двумя пальцами. Взгляд задерживается ещё на мгновение и уходит к окну, где за стеклом качается ветка дерева, трепещут листья на ветру. Высоко в небе вдали пролетает самолёт. Маленькая точка среди бескрайнего неба, которая будто пришла из прошлого, чтобы подмигнуть мне.

Я иду в ванную. Дверь не закрываю. Включаю воду, чтобы сначала прополоскать белье, лежащее в ванне. Пока руки бездумно работают, поднимая и опуская в разы потяжелевшую ткань, мое время тает. Пар поднимается вверх, воздух насыщается влагой. Наконец, загрузив белье в стиральную машину, я сама встаю под струи воды. Они бьют по телу — жестко, почти болезненно, по плечам, по спине, по животу, исчерченному багровыми и белыми растяжками. Вода хлещет и стекает, а я стою и чувствую только это. Горячая вода на секунду собирает меня воедино, возвращает хоть какие-то границы.

Когда я выхожу, зеркало в ванной запотело. Я протираю его ладонью и вижу свое отражение. На меня смотрит уставшее лицо с опущенными уголками рта и тяжёлым взглядом. На лбу глубокие морщины, кожа запомнила это напряжение и больше его не отпускает. Это не возраст. Не годы. Это напряжённое существование рядом с тем, от чего нельзя расслабиться.

Мой взгляд скользит ниже. Тяжелая, обвисшая после кормлений грудь больше не держится, она просто свисает. Взгляд опускается на живот. Сверху нависает складка, тяжелая, чужая. Я нажимаю на нее пальцем и почти ничего не чувствую. Под ней прячется шрам. Это место резали трижды, и оно срослось в один широкий след, неровный, перекошенный, как плохо зашитая рана.

Я наблюдаю в зеркало, как лишний вес висит на мне мёртвым грузом. Плюс двадцать килограммов, которые стали частью конструкции. Этот вес больше никуда не уйдёт. Сколько

бы усилий я ни прикладывала, сколько бы раз ни начинала сначала, тело уже выбрало этот формат. Я смотрю на него и чувствую, как подкатывает отвращение. Как вообще можно хотеть это тело. Как можно быть его обладателем.

Это тело сдавалось в аренду три раза. Внутри него выстраивалась новая жизнь, несколько раз подряд, без перерывов и полного восстановления. Как будто кто-то пришёл, взял всё, что было нужно, и ушёл, оставив следы. Три раза оно перестраивало сосудистую сеть, отращивало новые капилляры, утолщало матку, меняло внутри давление, гормоны и дыхание. Это тело отдавало кальций, белок, железо, вытягивало из себя всё, что могло, чтобы кто-то внутри рос, делился и смог полноценно формироваться.

Три грёбанных раза мой живот резали. По живому. Скальпель входил глубже и глубже. Его раскрывали, доставали из него жизнь, а потом снова сшивали, оставляя рубец. Шрам за шрамом. Слои соединяли, но целостность уже никогда не возвращалась в прежнем виде. Тело напоминало каждое вмешательство. Оно училось жить с этим дальше, как будто ничего особенного не произошло, но и отпечаток прошлого не забудешь.

А вдруг дело вообще не в детях. Вдруг дело во мне. В том, что я приложила слишком мало усилий, чтобы вернуть тело, вернуть форму и вернуть себя. Вдруг я оказалась слабее, чем думала. Вдруг я сдалась раньше, чем нужно было. Я выбрала раствориться, потому что это оказалось проще, чем бороться. Вдруг я позволила этому состоянию закрепиться и стать нормой.

И в этот момент всё резко обрывается. Из комнаты доносится громкий крик, рвущий тишину. Мультик закончился, и он остался один на один с собой. Его плач мгновенно заполняет пространство, вырывает меня из этого внутреннего провала.

Я вздрагиваю, хватаю полотенце и на ходу заворачиваюсь в него. Кожа еще горячая после душа, с мокрых волос по спине стекают капли. Я иду к нему быстро, почти бегом. Этот звук нельзя игнорировать. Он всегда сильнее любых мыслей. Я захожу в комнату, он сидит, всхлипывает, протягивает ко мне руки. День продолжается. И тело снова нужно целиком. Я с тобой, малыш, я никому тебя не отдам.

Квартира постепенно наполняется людьми. Сначала появляется один. Заходит молча, забрасывает вещи, бросает рюкзак на пол, проходит в комнату и с глухим хлопком закрывает за собой дверь. Потом приходит второй, та же траектория: коридор, пол, дверь. Звук один и тот же, как отработанное движение. Я спрашиваю, как прошел день, ответа нет. Я спрашиваю, будут ли они есть, в ответ — пожатие плечами. Я спрашиваю, пойдут ли они гулять, никто не поднимает головы.

Раньше мы гуляли. Утром или вечером. Всей семьей. Шли вместе, толкали коляску, обсуждали забавные мелочи. Теперь прогулок нет. Они расходятся по своим комнатам и остаются там. В полумраке до самой темноты тихо светятся их экраны, и только редкое движение пальцев по стеклу выдает, что они еще здесь. Я смотрю на это и ничего не делаю. У меня нет сил куда-то тянуть всех, что-то придумывать, заставлять.

Он скоро придет.

Мое тело сжимается. Его стягивают изнутри, сворачивая в плотный болезненный комок. Я знаю, что будет дальше. Он войдет, остановится на пороге и медленно проведет взглядом сначала по кухне. Потом по детям и по этой застойной тишине, в которой каждый сам по себе. В его холодном взгляде уже собрано все, что покажется ему неправильным. Даже если он ничего не скажет, это недовольство останется между стен, осядет в воздухе и ляжет на меня.

Раньше я уходила из квартиры. Тянула время, растворяясь в прогулках. Задерживалась где угодно, лишь бы не возвращаться к тому моменту, когда он входит. Я пряталась за делами, запиралась в комнате под предлогом работы, цеплялась за любые поводы. Сейчас уйти невозможно. Клетка захлопнулась, и воздуха в ней почти не осталось.

Мы давно перестали разговаривать. Это произошло тихо, без ссор и хлопанья дверьми. Наше общение свелось к сухим бытовым фразам. Что купить. Кто заберёт. Кто куда поедет. Даже эти слова даются с трудом. Мы спим в разных кроватях, и чувство вины с моей стороны угасло.

Я давно уверена, что у него кто-то есть. У меня нет ревности, боли или желания что-то выяснять. Скорее, появляется спокойствие. Пусть будет так. Главное, чтобы меня оставили в покое. Главное, чтобы тело, давно утратившее чувственность, больше не использовали. Я — тело, которым пользуются, пока оно работает. Тело, которое однажды просто спишут.

Из детской доносятся крики и возня. Старший и средний подрались из-за пустяка. Я остаюсь на месте и жду, пока они сами разберутся. Крики становятся громче, кто-то бьёт ногой в стену.

Я вхожу и ору. Ору так, что срывается голос, и говорю старшему такое, что нельзя говорить своему ребёнку. Он смотрит на меня снизу-вверх, как на чужую тетку в подъезде. Потом отворачивается и закрывает за собой дверь.

Мне становится легче. В этом доме ору только я, после стольких лет объяснений правил и попыток договориться с ними. Муж никогда не выходит из своей комнаты. Что бы там ни происходило.

Я сижу на кухне и ем что-то холодное и безвкусное, глядя в одну точку. Младший наконец уснул, он долго маялся, цеплялся за меня и плакал. Я давно ждала тишины. И именно в этот момент возвращается муж, громко хлопая дверью, с телефоном в руке, и с порога продолжает говорить о бизнесе. Моя тишина рассыпается вдребезги.

Жгучая злость поднимается мгновенно, и я даже не успеваю буркнуть «можно потише», как срываюсь и бегу к ребенку, который плачет. Он ворвался и забрал мою тишину, вырвал ее из рук. Я беру ребенка, успокаиваю его и вдруг вспоминаю, что когда-то была другой. Когда-то любила своего мужа, верила в него и жила с ощущением смысла. Сейчас я на дне, и самое страшное здесь — это понимание, что у этого дна нет границ. Это состояние кажется до боли знакомым. Я уже видела это раньше, в детстве. Тогда мне казалось, что со мной такого точно не случится. Я сделаю всё, чтобы этого не произошло.

Я жду ночи. Считаю время, не глядя на часы. День тянется, липнет, не хочет уходить, как пьяный гость, которого уже ненавидишь, а он все сидит за столом и шаркает ногами. Я хочу, чтобы пришла ночь и поглотила все эти голоса, все эти требования, все эти движения. Ночью никто не зовет.

Когда наконец темнеет, я почти бросаюсь на постель. Матрас жадно, глубоко принимает меня, и на секунду кажется, что этого достаточно. Ещё немного, и я исчезну.

Но сон не приходит.

Все тело налито тяжелой, тягучей усталостью, ноги гудят от глубокой ноющей боли. Виски сдавлены тупым железным обручем, под которым вязко стучит кровь. Каждая мышца просит только одного — отключиться, провалиться, исчезнуть. А в голове раскручивается холодное бешеное колесо. Я лежу с закрытыми глазами и чувствую, как внутри становится все ярче. Кто-то включил под черепом белую больничную лампу.

Я хватаю телефон, открываю ленту. Листаю фотографии чужих людей, их ужинов, поездок, чужого смеха. Потом открываю родительский чат. Снова напоминают сдать деньги. Кто-то просит принести материалы для поделки. Я закрываю переписку. Экран гаснет, и комната погружается во тьму.

И из этой черной тишины поднимается самое страшное. Желание вернуться назад. Схватить свою жизнь за шиворот в том месте, где она еще была податливой, и дернуть в другую сторону. Я хочу найти ту секунду, когда все пошло под откос. Тот незаметный поворот, то молчание, после которого я начала исчезать. И еще я хочу знать, что из этого вообще было моим. Что я выбрала сама, а что мне передали и велели нести дальше.

Я лежу неподвижно, чувствуя, как сердце бьется о матрас. Я закрываю глаза и погружаюсь в свои воспоминания. В самую глубину. До дна.

Глава 1. Сломанные крылья

Я стою перед шкафом со стеклянными дверцами, в котором раньше стояли книги. Я ещё маленькая, и верхняя полка находится слишком высоко, поэтому мне приходится вставать на табуретку, осторожно удерживая равновесие. Я вытягиваю шею и тянусь взглядом туда, где за стеклом находится его мир.

Стекло идеально чистое, почти невидимое. Оно блестит так, что отражает свет из окна ровной холодной полосой, как лезвие ножа, положенное поперек дня. В нём я вижу собственное отражение — маленькое, неловкое и живое. По другую сторону стекла — безупречный порядок, который я легко могу нарушить своим присутствием.

От шкафа пахнет сухим деревом, старой бумагой и клеем для моделей. Толстые книги с тёмными корешками стоят глубже, в самом конце полки. Они никуда не делись, но теперь уступили место тому, что для него важнее.

За стеклом стоят самолёты, которые собирал и моделировал мой отец. Аккуратные, каждый на своём месте, ровно по линейке, ни на миллиметр не сдвинуты. На крыльях блестит лак, словно они только что вернулись из полёта. Прозрачные кабины отсвечивают. На тонких шасси нет ни одной серой ворсинки. Даже между хвостами и подставками чисто, и само пространство здесь подчиняется приказу: «Не смей нарушать порядок».

Это единственное место в доме, которое выглядит совершенным. На кухне всегда что-то стоит не на своём месте. На подоконнике сохнут тряпки. На старых стульях висят вещи, в коридоре сбились в складки коврики, а на застеленном клеенкой столе лежат крышки, газеты, счета... Моя комната тоже живет своей жизнью. Там лежат учебники и тетради, появляются рисунки, разбросанные игрушки — следы моих дней. Наш дом дышит, меняется. Иногда он кажется слишком шумным и неаккуратным. Но этот шкаф существует отдельно. Маленький кусочек другой жизни, где все строго, аккуратно и понятно.

За стеклом стоят не игрушки. Игрушки валяются под кроватью, теряют колёсики и забываются. Эти самолёты стоят, как настоящая техника, только уменьшенная до размеров, которые можно удержать в ладони. Маленькие подобия живых машин, за которыми есть небо, скорость и недоступная мне высота.

Я долго смотрю на один из самолётов. Он сразу приковывает взгляд. Рядом стоят другие — серые и зелёные, с острыми носами и маленькими колёсами. Отец наносил на них тонкие мазки так аккуратно, что казалось, будто под слоем краски уже настоящий металл.

Но этот стоит чуть в стороне. Самолет F-14¹. Я уже знаю его название, оно звучит почти как имя зверя: Томкэт. Это не просто самолет, а хищник. Он сильный и опасный, с крыльями, которые могут складываться и раскладываться. Он сам решает, каким быть в воздухе, как будто в нем живет собственная воля.

Я провожу пальцем по стеклу, повторяя линию его корпуса. Острый, уверенный нос, готовый пронзить пространство. Маленькая кабина темнеет, как глаз, который видит то, что мне недоступно. Крылья расходятся в стороны, и даже неподвижность не делает его мертвым. Его остановили лишь на секунду и поставили под стекло. Стоит только открыть дверцу, отпустить его, и он сорвется с полки, рассекает комнату, потолок, нашу крышу и улетит туда, где ему место: в небо, в ветер, в бескрайнюю свободу.

— Не трогай стекло.

Голос отца звучит резко, как щелчок линейки по пальцам.

¹ F-14 «Томкэт» Американский двухместный палубный истребитель-перехватчик, стоявший на вооружении ВМС США с 1974 по 2006 год.

Я вздрагиваю так сильно, что табуретка подо мной опасно раскачивается. Нога соскальзывает с края, дерево под ступней протяжно и жалобно скрипит. Я едва не лечу вниз вместе со своим восторгом. Сердце сразу же подпрыгивает к горлу, замирает на мгновение, а потом начинает колотиться так сильно, что я слышу его стук в ушах. Я хватаюсь рукой за деревянную раму стеклянной дверцы шкафа, чтобы удержаться. Пальцы скользят по гладкой поверхности, оставляя на прозрачном стекле свои безобразные следы.

Отец уже стоит в дверях. На нем очки. Свет из окна падает на стекла, и они становятся почти белыми. Я смотрю на него снизу вверх, ищу его взгляд, но между нами только холодная поверхность.

— Посмотри, что ты натворила, — шипит он без тени сочувствия. — Все испачкала. Иди за тряпкой. Быстро. Вытри свои пальцы.

Я смотрю на стеклянную дверцу шкафа и вижу на ее безупречной поверхности жирные полукруглые следы. Пять детских отпечатков, расплывчатых и уродливо заметных на этом холодном блеске. Мне становится жарко от стыда, будто я не просто дотронулась, а испачкала что-то священное, как если бы поставила кляксу на иконе.

Я почти сползаю с табуретки, цепляясь коленом, и больно ударяюсь о ножку. Острая боль пронзает кожу, но я даже не останавливаюсь. Табуретка с глухим стуком падает, а я бегу на кухню к маме. Сердце колотится где-то в горле, а ладони потеют.

— Мам, дай тряпку, — выдыхаю я, задыхаясь от бега и страха.

Она оборачивается от раковины, руки у неё в мыльной пене, капли стекают по запястьям.

— Какую ещё тряпку? — спрашивает мама, хмуря брови.

— Папа сказал стекло вытереть.

Она молча кивает на белую хлопчатобумажную тряпку возле мойки, выстиранную до мягкости, с едва заметными следами старых пятен. Я хватаю ее и бегу обратно так быстро, что пятки шлепают по линолеуму.

Отец стоит рядом со шкафом и ждёт. Его фигура кажется огромной, тёмной и неподвижной.

Я снова ставлю табуретку, забираюсь на неё уже осторожнее, чувствуя, как она слегка подрагивает под моим весом. Я поднимаю руку и начинаю тщательно стирать каждый свой отпечаток. Один. Второй. Я тру слишком усердно, до скрипа и боли в пальцах, пока стекло снова не становится гладким, ледяным, без единого следа моего присутствия.

— Ещё вон там, — говорит отец снизу.

Я тянусь левее, вытягиваю шею, напрягаю мышцы.

— И сверху.

Я встаю на носочки, пальцы дрожат от напряжения.

— Нормально вытирай, разводы останутся, — в его голосе слышится холодное недовольство.

Я тру сильнее, пока ладонь не начинает ныть, пока кожа не краснеет и пока я не чувствую, что вот-вот упаду со стула. Наконец стекло снова блестит. Идеально и безупречно. Моих пальцев здесь больше нет. Как будто меня здесь никогда и не было.

Я продолжаю смотреть на Томкэт через эту очищенную поверхность. Теперь уже не касаюсь. Только глазами. Издалека. С тем новым знанием, которое быстро и прочно укореняется внутри: к прекрасному можно приблизиться, только очистившись от своих следов и грязи.

Я знаю его тайну. Страшную тайну Томкэта. Историю о женщине, которая имела право находиться внутри этой машины. Кажется, её звали Кара. Кара Халтгрин².

² Кара Халтгрин Кара Спирс Халтгрин (1965–1994) — лейтенант ВМС США, первая в истории американского флота женщина, получившая квалификацию лётчика палубного истребителя. Погибла 25 октября 1994 года при заходе на посадку на авианосец «Авраам Линкольн».

Имя звучало странно, совсем чуждо. Американское. За этим именем я представляла красивую женщину с каштановыми вьющимися волосами, спрятанными под тяжёлым шлемом. На ней был тёмный лётный костюм. Она сидела внутри этой железной машины, среди ветра и солёных брызг, а вокруг гремел оглушительный рёв двигателей. Самолёт летел над чёрной водой, а внизу оставался огромный корабль, освещённый жёлтыми огнями.

Впервые я услышала о Томкэте, когда была совсем маленькой и не понимала, о чём говорит отец, но само слово осталось в памяти.

— Слышали, что в новостях показывали? — возбужденно говорил он, не дожидаясь ответа. Ему хотелось рассказать. — Эта американка... первая женщина-летчик-истребитель. На «Томкэте» заходила на посадку в море. Не рассчитала угол и вошла в помпаж³. В последний момент начала корректировать курс — и все. Двигатели не выдержали. Ушла под воду.

История про Томкэта осталась со мной навсегда.

Когда я уже подросла, мне захотелось понять, что тогда произошло.

— Пап, а что такое помпаж?

Он сразу оживился.

— Пойдём, покажу.

Отец подошёл к шкафу и открыл дверцу. Петли тихо скрипнули. Стекло отъехало в сторону, и самолёты стали ближе. Мне нельзя было их трогать. Я это знала. Это было строгое правило. Отец мог брать их в руки, но всегда делал это очень осторожно.

Он осторожно достал модель F-14 и поставил её передо мной.

— Вот он, Томкэт. Красавец. Двухместный палубный истребитель, — сказал отец. В его голосе появилось то особое удовольствие, которое я всегда хотела уловить и направить на себя. — Видишь, какие крылья? На скорости убираются назад, при посадке раскрываются. Машина серьёзная.

Он слегка наклонил ладонь, показывая, как самолет снижается, приближаясь к кораблю.

— Вот смотри. Самолет заходит на посадку. Скорость большая. Нужно точно выдержать угол снижения. Если ошибиться и начать исправлять ситуацию слишком поздно, двигатель может потерять тягу. Воздух идет уже не так, как должен. Это и есть помпаж.

Он снова показал руками движение самолета, а я смотрела на его пальцы, на маленький F-14 перед собой и пыталась представить настоящий самолет над морем.

— Там все должно быть точно, — продолжал отец. — Такая машина не прощает ошибок. Палуба у корабля короткая, а времени очень мало.

Он говорил, а я смотрела на его руку. Палец у него был большой, ноготь коротко подстрижен, кожа у основания сухая, с мелкими трещинками. Его палец двигался вдоль крыла, вдоль фюзеляжа, вдоль хвоста, и мне казалось, что он знает каждую линию этого самолета.

А потом он добавил:

— Вот тебе и результат, — он коротко, без радости усмехнулся. — Женщинам даже машину нормально доверить нельзя, а тут самолет. Истребитель.

У меня внутри что-то сжимается. В первый момент это совсем слабое чувство, будто кто-то схватил бабочку за крыло. Я смотрю на плавные линии F-14, на его чёткие грани, на этот красивый, собранный, хищный корпус и вдруг понимаю, что теперь это не просто красивый самолёт. У него появилась жуткая история. История женщины в мире мужчин, которая поднялась в небо на этой машине. И разбилась.

— Она же... — я запинаясь, но все равно договариваю. Мне очень хочется, чтобы он услышал. — Она же первая женщина... которая летала на «Томкэте»? И которая садилась на этот корабль?

³ Помпаж Срыв устойчивой работы авиационного двигателя, при котором нарушается воздушный поток в компрессоре. Сопровождается потерей тяги и может привести к остановке двигателя.

Отец резко поворачивает голову. Его взгляд сразу становится тяжелым, от него хочется спрятать лицо в плечи, съежиться, стать меньше и незаметнее. В нем приговор. Холодный и окончательный.

— И что? — он смотрит прямо на меня. — Это и есть ошибка. Вся ее жизнь теперь ошибка. Хорошо еще, что не покалечила других людей и не потопила корабль.

Слова падают тяжело, с глухим стуком, от которого что-то сжимается внутри. Я отворачиваюсь от него и смотрю на самолёт, который стоит передо мной.

Самолет стоит на месте. Не ошибается. Кажется идеальным. Его краска гладкая и ровная, каждая деталь на своем месте. В его форме нет ничего случайного. Нос направлен вперед, как будто он смотрит дальше этой комнаты, дальше этого дома.

Я хочу, чтобы он смотрел на меня так же, как на них. Без раздражения. С одобрением. Чтобы я тоже могла быть для него тем, чем можно гордиться.

— Всё. На сегодня хватит.

В его голосе снова появляется резкость. Он берёт модель аккуратно, почти трепетно, как прикасается к чему-то особому. Возвращает F-14 на место за стеклом, поправляет его положение и медленно закрывает дверцу шкафа.

Стекло снова оказывается между нами.

Когда отца нет дома, его комната становится другой. В ней можно находиться тихо, не боясь лишнего взгляда. Я тянусь к нижней полке, до которой можно дотянуться без стула. Там лежат его книги. Они толстые, взрослые, в плотных обложках, с самолётами на картинках и названиями, которые я читаю медленно, по слогам. Одна книга особенно большая, в жёсткой обложке, с иллюстрациями русской авиации. Мне кажется, там есть всё, что нужно знать, чтобы стать не ошибкой, а кем-то настоящим.

Я вытаскиваю её двумя руками. Книга тяжело ложится мне на ладони, чуть тянет вниз, и я сажусь прямо на холодный пол, потому что держать её стоя неудобно. Пол пробирает меня сквозь тонкую ткань, холод поднимается от пяток к коленям, но я не двигаюсь. Я кладу книгу на ноги, открываю и быстро листаю. Страницы пахнут типографской краской, пылью и отцовскими руками. Передо мной открывается мир, в котором я понимаю лишь отдельные фрагменты: схемы, незнакомые обозначения и строгие линии чертежей.

Я почти ничего не понимаю, но от этого мне еще сильнее хочется держать эту книгу в руках. Мне кажется, что за этими знаками скрывается дверь, а ключ от нее — во мне.

Я нахожу незнакомые слова и достаю тетрадь. Пишу аккуратно, медленно, выводя каждую букву так, будто меня потом будут проверять под лупой. РЛС — радиолокационная станция. Я представляю невидимые лучи, которые уходят далеко в небо, находят там чужие машины и видят то, чего человек не может увидеть глазами. Угол атаки. Я не совсем понимаю, что это значит, но представляю, как самолёт задирает нос, а воздух начинает давить на крылья.

Я переписываю ещё несколько слов. Фюзеляж. Шасси. Турбина. Если я буду знать, что такое РЛС, угол атаки и скорость захода на посадку, может быть, отец поймёт, что я не просто девочка, которая слоняется по дому, пачкает тетради и не убирает в комнате.

— Ты что делаешь? — голос отца звучит уже рядом, почти над головой.

Я вздрагиваю, но глаз не поднимаю. Мне хочется, чтобы голос звучал спокойно, с интересом. Чтобы он подошел ближе, объяснил, научил и разделил со мной этот мир. Я крепко, почти до боли, сжимаю ручку, так что белеют костяшки пальцев.

— Я хочу стать лётчиком, — говорю я по-взрослому, решительно и твёрдо, как будто уже приняла решение и просто сообщаю ему об этом.

На секунду становится тихо. Тишина короткая, но я успеваю услышать собственное сердце. Оно бьется неровно и часто. Потом он смеется. Коротко и сухо. Так смеются над тем, что даже трудно воспринимать всерьез.

— Девочки не становятся лётчиками.

Я сжимаю книгу сильнее. Край обложки впивается в ладонь, оставляя болезненный след.
— А она?

Отец тут же меняется. Смех исчезает. Голос становится жёстче.

— Я же сказал, — произносит он, растягивая слова, будто объясняет очевидное ребёнку, который никак не может понять простую вещь. — Это ошибка. Поняла? Ошибка.

Я киваю, хотя он уже почти не смотрит на меня. Если я буду спорить, он разозлится. Если я скажу что-то ещё, он окончательно решит, что я глупая. Я опускаю глаза в книгу, но буквы уже расплываются.

РЛС. Угол атаки. Скорость захода...

Ошибка.

Это слово ложится на сердце тяжёлым камнем, маленьким, но плотным, словно отлитым из того же металла, что и крылья F-14.

Я не хочу быть ошибкой.

Я закрываю книгу и аккуратно возвращаю ее на место, чтобы корешок стоял ровно рядом с другими. Если книга будет стоять криво, это заметят. Если самолет сдвинется на миллиметр, это тоже будет неправильно. Здесь все должно быть на своих местах, и я тоже должна найти свое место, пока не поздно.

— И вообще, — добавляет отец уже другим тоном, более обыденным, почти скучным, но от этого не менее суровым, — ты бы лучше у себя в комнате прибралась, а не в самолётики играла. Вечно вы с матерью бардак разводите.

Я замираю. Комната словно становится меньше. Самолёты за стеклом уходят куда-то вдаль, а рядом появляется другой мир: моя кровать с комковатым одеялом, разбросанные вещи и куклы с остриженными волосами.

— Мне потом будет неприятно, — продолжает он, — когда муж будет говорить тебе, что ты засранка.

Будущий муж сразу представляется мне взрослым и строгим, имеющим право оценивать. У него еще нет лица, но уже есть тот самый требовательный взгляд. Муж будет видеть беспорядок. Будет делать замечания и знать, какая я на самом деле.

Я стою у шкафа, маленькая, и мне становится стыдно. За свою комнату, за маму, за себя. За желание стать лётчиком. За то, что я часами рассматривала самолёты и пыталась их понять, вместо того чтобы убрать свои вещи и сделать всё так, как от меня ждали.

Мир сужается до простого правила: мужчине нельзя показывать беспорядок. Нельзя давать повод назвать тебя неправильной.

Ну уж нет. Когда у меня будет муж, я буду идеальной. Самой старательной. Я не допущу, чтобы он так со мной разговаривал. Я не буду как мама. Я буду убираться заранее и готовить правильно. Буду тихой и аккуратной, такой, к которой не придерешься. Я буду безупречной, как истребитель за стеклом.

Отца нет рядом, и я снова забираюсь на табуретку и смотрю на Томкэт за стеклом. Он ровный, холодный и красивый. Он полон скрытой силы, готовый взлететь в любой момент. Где-то далеко настоящая женщина ушла под воду, и отец назвал ее жизнь ошибкой. А здесь, в нашей комнате, маленькая девочка стоит перед шкафом и учится другому полету. Не в небо, а в ту жизнь, где нужно быть правильной, аккуратной и такой, чтобы однажды отец посмотрел на нее с уважением.

Я долго стою перед самолётом, разглядывая каждую деталь. Я уже знаю, что лётчицей мне не стать. В мире, о котором говорил отец, для меня нет места. Но, может быть, я смогу доказать ему обратное. Может быть, я смогу быть такой же аккуратной, как он. Могу взять в руки эту ценность, а потом вернуть её на место так, что он даже не заметит.

Мне хочется тихо показать ему, что мне можно доверить то, что для него дорого. Что я способна быть осторожной. Что я умею обращаться с вещами, которые для него важны.

Я открываю дверцу шкафа. Очень медленно тянусь к модели и беру ее обеими руками. Сначала я боюсь даже пошевелиться. F-14 лежит у меня на ладонях, и я держу его так, как держат самое хрупкое и самое важное.

Я смотрю на самолёт и думаю, что у меня всё получается. Я справляюсь. Я могу. Сейчас я поставлю его обратно, закрою дверцу, и никто ничего не узнает.

Но когда я поворачиваюсь, чтобы вернуть модель на место, край крыла задевает полку. Самолёт резко теряет равновесие. Я пытаюсь удержать его, но от движения он только сильнее наклоняется вниз. F-14 выскальзывает из рук и падает.

Удар о пол кажется оглушительным.

Я сразу понимаю, что случилось. Одна деталь отделяется от корпуса. Левое крыло ломается. Рядом с моделью остаются маленькие детали, которые ещё секунду назад были единым целым. F-14, который всегда стоял таким совершенным за стеклом, теперь лежит передо мной повреждённый.

Я стою неподвижно и уже знаю, что будет дальше.

Когда открывается дверь, я даже не поднимаю головы. Я знаю этот звук. Знаю, как смотрит отец, когда видит ошибку. И в этот момент я точно понимаю: сейчас он достанет ремень.

Глава 2. Закон терпения

Я лежу у себя в комнате и смотрю в потолок. Трещина в побелке тянется тонкой линией, похожей на молнию, которая никогда не ударит, и от этого она кажется еще более зловещей. Я веду по ней взглядом и жду, что она начнет двигаться. В комнате тепло и душно, кожа на руках прилипает к простыне, в горле пересохло.

Из кухни доносятся звуки, и они проникают в меня, как вода, поднимающаяся выше щиколоток. Звон посуды. Дверца шкафчика. Скрип линолеума под мамиными шагами. Там не разговаривают, там работают. Там все время кто-то старается ходить тише, чтобы никого не разбудить, и этот тихий шаг звучит громче любого крика.

Мне восемь, и я уже знаю: женщина — это дом, дом — это женщина. Слова не нужны, это знание лежит во рту, как таблетка, которую проглотили и которую уже поздно выплёвывать. Дом держится на руках, которые всегда заняты делом. На плечах, которые всё время чуть приподняты. Усталость в этом доме есть, но ей не дают имени.

Я стою в дверях кухни и смотрю на маму. Она вся состоит из движений. Разбирает тяжёлые сумки, опускает их на пол, и усталость уже отражается на её лице, в складке между бровями, во взгляде, который не смотрит, а проверяет. Она переступает порог и сразу включается в работу. Руки сами находят себе занятие, тянутся к столу, снова и снова поправляют полотенце.

Пирожки выходят из духовки горячими, то с картошкой, то с капустой, и их запах окутывает занавески, а потом и мои волосы. Мама выкладывает их на блюдо, накрывает полотенцем и на секунду замирает, оглядывая кухню. Все ли на месте, чтобы жизнь была правильной. От этого взгляда у меня внутри все сжимается, потому что я вижу, сколько труда вложено в это, и вижу, что его всегда мало.

Ее тело повторяет одно и то же движение. Она наклоняется, достает, ставит, вытирает, и в каждом жесте есть жесткая заданность. Я смотрю, как она медленно водит тряпкой по столу, стирая следы прошедшего дня до блеска.

Я хочу спросить: «Ты устала?»

Стыд приходит раньше слов. Стыд, будто я прошу денег. Он поднимается в груди и давит, но все равно слова выходят тихо, почти случайно.

— Мам, ты устала?

Она даже не поворачивает голову. Улыбается одним уголком губ, так улыбаются люди, у которых уже нет сил на настоящую улыбку.

— Потом отдохну, — говорит она.

Потом.

Слово, похожее на чердак, куда складывают жизнь. Слово, в котором никогда нет места для сегодняшнего дня. Я слышу его и вижу дверь, в которую однажды смогу войти и я. Там будет такая же тишина и такая же улыбка одним уголком губ, только уже на моем лице.

Я сижу на табуретке и болтаю ногами. Под ступнями холодный кафель, мне неприятно, но я молчу, что замёрзла. Кухня пропитана густым запахом корицы с сахаром. Мама ставит передо мной булочку и наливает тёплое молоко. Тепло медленно согревает меня изнутри. Я смотрю на маму и учусь быть удобной. Учусь не мешать. Заранее угадывать, где мое место, а где воздух, который я должна оставить другим.

Здесь слышны женские разговоры, и я впитываю их, как отпечаток, который врежется в тебя раз и навсегда.

Бабушка начинает говорить. Ее голос меняется еще до того, как звучит первое слово.

— Мой отец был поляком, — говорит она.

«Поляком» она произносит так, будто это не национальность, а приговор. Голос садится, становится ниже, и в нём появляется тот визгливый надлом, который возникает каждый раз, когда память поднимает слишком глубокие пласты.

— Тогда такие времена были. Начало войны. Всех, кто отличался по национальности, сразу ставили под подозрение. Забирали без объяснений. Просто приходили и забирали. Говорили: «На работы». А какие работы, никто не знал. Лагеря эти... они были разбросаны по всей стране.

Человека можно взять и унести, как табурет. На его месте сразу образуется пустота, к которой придётся привыкать.

— Мать моя осталась с двумя детьми. Голодные были годы. Есть нечего.

У нее начинает дрожать голос. В глазах появляются слезы, каждый раз в одном и том же месте.

— Думаешь, легко было? — Она резко вскидывает голову, и взгляд ее становится колющим, острым, как осколок стекла. — А этот кусок хлеба сам появлялся? Нет. Мать его выгрызала. Выцарапывала. Вымаливала, если нужно было.

Она произносит это негромко, но слова ударяются о стены и возвращаются обратно. Рука ложится на край скатерти, сжимает, мнет, отпускает, снова сжимает. Пальцы белеют, на запястье отчетливо проступают вены.

— Мы с братом голодные, зима на дворе, а у нас ни дров, ни муки. Ни лишней копейки. Помню, мать пошла к соседке, а та дверь перед носом захлопнула. «Самим есть нечего», — говорит. И правда: у неё своих трое, и все в одном тулупе.

Бабушка замолкает, делает глубокий вдох, набирается воздуха перед новым броском. Голос звучит глуше, словно откуда-то из-под земли.

— Однажды зимой совсем худо стало. Пошли мы к церкви, где старухам подавали милостыню. Стояли, опустив головы. Стыдно было ужасно. Я шепчу матери: «Пойдем отсюда». А она только крепче сжимает мою руку и говорит сквозь зубы: «Будем стоять».

Она сглатывает. Слезы застряли где-то внутри, тяжелые и горячие.

— Подавали мало. Кто пятак кинет, кто корку. Одна баба даже луковицу дала, мама потом разрешила ее пополам, сварила с крапивой, вот и получился суп. Мы ели и улыбались. «Вкусно, мама», — говорили. Господи, до чего дошли, радовались луковой похлебке, как царскому обеду.

Бабушка проводит ладонью по лицу, словно смахивая с него всю эту зиму. Взгляд снова находит меня, но она все еще там, у церкви, с протянутыми руками.

— Вот так и жили. Мать крутилась как могла. Шила, перешивала, стирала где придется. Даже гадала на картах, лечила травами и снимала заговоры. Лишь бы больше не ходить к церкви.

Она коротко усмехается. Если не усмехнуться, слезы разорвут ее изнутри и мне становится трудно дышать.

— Тогда выживали, как могли. Никто не собирался никого жалеть.

Дальше происходит то, что я слышала уже много раз. Отец возвращается из лагеря через несколько лет. Он возвращается другим. Он приносит с собой запах сырости и лекарств и болезнь, которая уже поселилась в его теле. Открытая форма туберкулёза. В те годы это означало одно.

— Я его помню, — говорит бабушка тише. — Помню, как он кашлял. Помню этот запах. Помню, как нас к нему не подпускали и мы плакали издалека.

Она замолкает. Слезы свободно катятся по её лицу, руки дрожат, на меня она больше не смотрит.

Он умирает почти сразу.

Я сижу напротив и не знаю, куда деть руки. Мне хочется спрятать их под стол, как прячут украденное. Если я пошевелюсь, бабушка развалится. Воздух между нами натянут тонкой пленкой, и любое движение может ее порвать. Внутри у меня пусто и стыдно. Стыдно, что я жива. Стыдно, что у меня было детство без лагерей.

Я молчу.

И вдруг она обрывает свой рассказ. Резко, без перехода. Голос становится жестче и суше, слова вылетают сквозь стиснутые зубы.

— А муж мой, твой дед, начальником совхоза был. Должность, бумаги, командировки. — Она морщит нос и откидывается на спинку стула. — А толку-то что?

Она делает короткое движение рукой, смахивая со стола что-то липкое и ненужное.

— Гулял много. Дома редко бывал. Всё время где-то. А я с двумя маленькими детьми. Одна.

Слёз уже нет. Только злость, которая годами копится в груди и не проходит. Ни время, ни его смерть её не ослабили.

— Денег толком не было. Жилье так себе. Всё на мне. Дети, еда, одежда, школа. Он приезжал раз в месяц, привозил мешок картошки и денег немного, как милость. «На, — говорит, — держи». Кивала, спасибо говорила, теперь продержимся. А внутри всё кипело.

Руки у нее сразу начинают искать, за что бы взяться. Сидеть с этим за столом она не может. Она хватает тряпку и трет столешницу, хотя та и так чистая. Работа вместо чувств. Женщина у нас не говорит «мне больно», она моет тарелку.

Я сижу так тихо, что сама себе кажусь табуреткой у стены. На кухне пахнет мокрой тряпкой, железом и чем-то вареным. На плите подрагивает кастрюля. Бабушка звякает тарелкой сильнее, чем нужно, и я вздрагиваю, но виду не подаю.

— И что хорошего в таком муже? — бросает она уже не мне, а в воздух, но воздух направлен точно туда, где сидит её дочь. — Одно название.

Мама вспоминает своего отца иначе. Это слышно ещё до слов. В её голосе появляется тепло, почти детское, беззащитное.

— Помню, как я его ждала, — тихо говорит она, боясь спугнуть. — Каждое утро вставала раньше всех, подходила к окну, прижималась лбом к холодному стеклу. Смотрела на дорогу: вдруг он идёт? И сердце замирало каждый раз, когда мимо кто-то проходил.

Она улыбается, и в этой улыбке появляется та самая девочка, которая верила, что папа вот-вот появится.

— Однажды я нарисовала ему картинку. Дом, солнце, а рядом мы втроём, стоим, держась за руки. Я тогда ещё не умела рисовать людей, получились палочки с кружочками вместо голов. Но я так старалась. Аккуратно сложила, спрятала под подушку и думала: вот придёт он, я ему отдам, и он сразу улыбнётся. И останется с нами. Навсегда.

Её голос теплеет.

— А однажды он привёз шоколадку. Я потом долго хранила эту обертку. Спрятала в книгу, чтобы не помялась. Иногда разворачивала, рассматривала картинку, там был нарисован олень в лесу.

Бабушка фыркает, не отрываясь от посуды.

— Всё у неё хорошо, — бормочет она. — Конечно.

— Он не злой был, — говорит мама. — Просто... его всё время где-то носило.

— Носило, — отзывается бабушка. — По бабам и по бутылкам его носило.

Мама делает вид, что не слышит. Поправляет полотенце на столе, смотрит в чашку.

— Ну что теперь вспоминать.

Проходит минута, и она все-таки говорит то, о чем давно думает. Негромко, почти винновато, не поднимая глаз.

— Ему с ней было трудно. Ты же знаешь, какая у нас бабушка. Требовательная. Ей всегда было мало. Всё не так. Она сразу заводилась, начинала кричать, устраивать сцены. Ему проще было уехать, чем всё это терпеть.

Бабушка резко оборачивается. Не сразу отвечает. Смотрит долго и тяжело.

— Сцены? — переспрашивает она. — А что, мне надо было ему песни петь? Радоваться, что его дома нет? Мне не сцены были нужны. Мне муж был нужен. Чтобы человек домой приходил и оставался, а не картошкой раз в месяц откупался. Но и за это спасибо, так бы ноги протянули.

Мама молчит. Пальцы машинально разглаживают край полотенца. Тишина на кухне сгущается. Даже кастрюля на плите перестает шуметь.

Мужчина может исчезнуть, и это объяснимо. Женщина остается, и это не обсуждается.

Так же мама говорит и про моего отца. Даже когда все уже очевидно. Когда видно, что он не справляется и не выдерживает, она все равно говорит о нем спокойно. Она не выносит на поверхность то, что причиняет боль, находит объяснения, вспоминает хорошее. И повторяет одну и ту же фразу, снова и снова, без которой мир может покачнуться:

— Ты дитя большой и сильной любви.

Я верю ей. Мне хочется верить, что эта любовь была большой и сильной. Что она никуда не исчезла, а просто спряталась под тяжестью лет и всех забот, которые легли на плечи взрослых.

К маме приходят подруги. Они появляются ближе к вечеру, когда основные дела уже сделаны. Снимают пальто в прихожей, проходят на кухню и садятся за стол. У каждой свой голос. Громче всех говорит соседка снизу. Она начинает с порога, не дожидаясь чая, и по кухне сразу становится тесно от её голоса. Женщина напротив неё держит паузу перед каждым словом, и от этого её слушают внимательнее всех.

Пахнет чаем, печеньем из вазочки и свежим хлебом, который кто-то принёс. Я сижу тут же за столом с тетрадью, и взрослые уверены, что я занята своим делом.

Они обсуждают чужие семьи. Говорят о женщинах, от которых ушли мужья, вспоминают очередную неудачницу и разбирают, что в ее жизни пошло не так.

— Родила детей, перестала следить за собой, — говорит одна, размешивая сахар в чае. — А потом удивляется, почему мужчина уходит.

Мама тихо соглашается.

Я поднимаю голову от тетради.

— А он мог остаться?

На кухне на секунду становится тихо. Мама смотрит на меня, но отвечает не она.

— Мог. Захотел бы — остался. — Женщина отпивает чай и ставит чашку на блюдце. — Мужики всегда могут. Только не всегда хотят.

Они хихикают и переглядываются.

— Какая серьезная, — говорит одна из них. — Всё слушает. Всё запоминает.

Мои щеки пылают. Мне неловко от их внимания, хочется сбежать из этой кухни, но я остаюсь на месте. Я все запоминаю. Почему мужчина остается. Почему уходит. Что нужно делать, чтобы с тобой такого не случилось.

Бабушка все это время стоит у раковины и молчит. Потом закрывает воду. На кухне сразу становится слышно, как гудит холодильник.

Она вытирает руки и подходит ко мне. Жесткими пальцами берет меня за подбородок и поворачивает мое лицо к себе.

— Ты их не слушай, — тихо говорит она. — Запомни одно. Останешься одна — сдохнешь. Держись за мужа. Какой попадется, такого и держи.

Она отпускает меня и идет к раковине. Снова шумит вода, тарелка стучится о тарелку.

Я сижу и не двигаюсь. Подбородок горит в том месте, где были её пальцы. Я знаю, что она хочет уберечь меня. И знаю, что будет со мной, если я ошибусь.

Глава 3. Отцовский закон

Я подросток в узких джинсах и короткой куртке не по сезону, с рюкзаком, набитым тетрадами. Вокруг все куда-то собираются, что-то решают, примеряют на себя будущие профессии и взрослые маршруты. У меня на этом месте пусто.

Школа стоит серой коробкой с облупившейся штукатуркой, и дверь в неё приходится толкать плечом. Внутри пахнет влажными тряпками и мелом, лестницы отполированы подошвами до каменного блеска, а под мутным пластиком на стенах висят пожелтевшие стенгазеты, на которые давно никто не смотрит.

Уроки тянутся медленно. Голоса учителей проходят мимо меня. Я смотрю в тетрадь, вывожу строчки, решаю задания, и всё это происходит где-то рядом, без меня.

Поверх школьной жизни уже который месяц висит одно слово. Поступление. Оно появляется в разговорах всё чаще, проникает в перемены, в уроки, в случайные фразы взрослых. Меня снова спрашивают, куда я пойду, что выберу, кем стану, а у меня на все эти вопросы нет ни одного ответа.

Сегодня это опять началось на последней перемене. Мы стояли у окна в длинном холодном коридоре, жевали сухие булки из буфета и смотрели вниз на школьный двор, где мартовская жижа месилась под ногами младших классов.

— Всё, я решила, — сказала одноклассница у окна. — После выпускного еду в Питер.

— Да ладно? В Питер? — сразу оживилась девчонка у батареи. — Ничего себе. Это же круто вообще.

— У маминой знакомой там дочь учится, уже всё разузнали. Если сейчас сесть на репетиторов, шансы хорошие.

— А родители чего?

— Ага, — кивнула она. — Родители сказали, надо пробовать.

— Вот вам хорошо, когда родители уже знают, куда вас пихать, — хмыкнул мальчик, стоявший к нам спиной.

— А ты сам-то куда? — тут же спросили его.

Он обернулся и пожал плечами.

— Отец хочет, чтобы в техникум шёл, к ним на завод потом. А я пока думаю.

— Думает он, — засмеялась девочка с косой. — Сейчас все думают, а потом в июле бегают.

— Я, наверное, в медицинский колледж пойду, — подала голос та, что у батареи, и понизила голос, будто говорила лишнее. — Если биологию вытяну. Мать говорит, с медициной хоть кусок хлеба будет.

— Ну да, медики всегда нужны.

— А экономический сейчас тоже норм, — влез парень с задней парты. — У сестры подруга поступила, уже на втором курсе подрабатывает.

Одна из девушек повернулась ко мне.

— А ты куда собираешься?

Я пожала плечом.

— Не знаю.

На секунду она задержала взгляд.

— В смысле не знаешь?

Я улыбнулась неловко.

— Ну... пока не знаю.

Она чуть приподняла брови, будто не нашла в этом ответе ничего понятного, и медленно отвернулась.

— Понятно.

Через секунду разговор снова вернулся к прежнему.

— А у тебя сколько репетитор берёт? — спросила одна.

— Три раза в неделю занимаюсь, — ответила другая.

— А по истории уже нашла?

— Пока нет, но надо искать. Сейчас без этого сложно.

Они говорят между собой. Я стою рядом с булкой в руке, ещё секунду держусь в этом круге, хотя меня в нём уже нет. Рядом с их уверенными голосами я человек, у которого пока нет очертаний.

Домой я плетусь медленно, специально наступая в рыхлый снег и раздавливая сапогом серую ледяную кашу у бордюров. Воздух влажный, пахнет талой водой и бензином. Небо низкое и бесцветное, а высоко над ним идёт самолёт: маленькая светлая точка тянет за собой белый след, который медленно расходится в облаках.

Я останавливаюсь и смотрю вверх.

Он знает, куда летит. Кто-то проложил ему маршрут, назвал время и точку на карте, и он идёт по прямой, никуда не сворачивая.

Когда-то я хотела стать лётчицей. Та девочка тоже знала, чего хочет. Она не думала, получится ли, и не искала причин, почему это невозможно.

Подъезд встречает сыростью. Я поднимаюсь медленно, кручу ключ в замке дольше, чем нужно, и всё равно толкаю дверь.

Внутри пахнет супом и мокрыми сапогами, батареи жарят с самого утра, и от этого воздух в прихожей стоит густой и сонный. С кухни доносится стук ножа о разделочную доску.

— Пришла? — кричит мама. — Суп на плите, если будешь.

— Не буду. Я в школе поела.

— Опять свои булки, — буркает мама. — Только аппетит перебиваешь.

Я снимаю куртку, ставлю сапоги к стене и прохожу к себе, не заглядывая на кухню.

За столом я открываю тетрадь и понимаю, что читать не смогу. Учебник лежит передо мной раскрытым брюхом, ручка остаётся между пальцев, а рука стоит мёртво. За стеной у соседей сверлят короткими рывками, и от этого звука в зубах появляется противная вибрация. Я смотрю в окно на серую панельную стену дома напротив и на бельё, которое кто-то повесил сушиться в марте и забыл.

В прихожей щёлкает замок.

Я вздрагиваю. Это отец, я знаю его шаги наизусть, и всё равно вздрагиваю каждый раз.

Он бросает ключи на полку, скидывает ботинки и идёт на кухню. Оттуда доносится, как двигают стул и звякают крышкой о кастрюлю.

Сначала они говорят тихо. Потом мамин голос поднимается, и я встаю.

Дверь на кухню приоткрыта, и из щели падает длинная полоса света. Я останавливаюсь в темноте, у самого её края. Пол холодный, и я стою на нём босиком, боясь переступить: вторая доска от порога скрипит. Стоит ей скрипнуть, и этот разговор кончится, а начнётся другой, где про меня будут говорить при мне.

Мама стоит у мойки спиной к отцу и чистит картошку. Нож в её руке снимает кожуру одной длинной лентой, и лента падает в раковину целая, ни разу не порвавшись. Мама умеет так с любой картошкой, и это единственное, что получается у неё в этом доме без замечаний.

— Ей документы надо подавать, — говорит мама. — Через два месяца уже поздно будет.

— Зачем ей институт или колледж. Пусть закончит школу и хватит. Девочке этого более чем достаточно.

Мама медленно кладёт нож и вытирает руки о полотенце, висящее на ручке духовки. Делает это нарочито спокойно, хотя я вижу по плечам, что внутри у неё всё уже натянулось.

— Почему это достаточно?

Отец усмехается. Даже не зло, а с тем привычным оттенком снисходительного раздражения, с каким взрослые объясняют ребёнку очевидные вещи.

— Потому что ей жить надо будет, а не книжки читать до старости. Муж, дети и хозяйство. Нормальная женская жизнь. Или ты ей другой судьбы хочешь?

Мама поворачивается. Лицо у неё бледное, под глазами синеватые круги, губы плотно сжаты.

— Я хочу, чтобы у неё была возможность.

— Возможность чего? — он наконец поднимает голову. — Болтаться потом с дипломом и никому не нужной умностью? Ты сама уже это всё проходила.

Он произносит это тихо. Не спорит, а просто выносит приговор. Мама делает шаг к столу.

— Пусть учится.

— Зачем?

— Затем, что ей нужно что-то своё.

— Своё, — повторяет он и откладывает газету. — А кто за это своё платить будет? Ты? С каких денег? Ты в этом доме хоть одну вещь на свои купила?

Мама не отвечает. Вода бьёт в раковину, потом она закрывает кран, и на кухне становится слишком тихо. Она умеет замолкать так, что это выглядит согласием. Внутри у неё сейчас всё стоит, как стоит вода в трубе, когда кран уже закрыли.

Он откидывается на спинку стула и смотрит на неё с усталым превосходством.

— Своё у женщины это семья. Всё остальное блажь.

Он произносит это тихо, не повышая голоса, и от этого хуже. Мама стоит с полотенцем в руках и больше ничего не отвечает.

Я возвращаюсь к себе, сажусь за стол и раскладываю перед собой тетради с видом человека, который занят уроками.

Стук в дверь и её движение происходят одновременно. Я не успеваю ничего сказать, отец уже в комнате. Несколько секунд он стоит у порога и смотрит на стол, на раскрытые тетради, на футболку, которую я не убрала со стула, на кружку рядом с учебниками.

Я начинаю собирать вещи. Кладу ручки в пенал, поправляю стопку тетрадей, стаскиваю футболку. Руки двигаются быстро и беспорядочно. Мне хочется убрать не беспорядок, а сам факт того, что он его увидел.

Отец закрывает за собой дверь.

— Вот об этом я и говорю. Человек может думать о чём угодно высоко, но всё начинается с порядка вокруг себя. Если ты не можешь прибрать комнату, о какой самостоятельности речь.

Я молчу. Он садится напротив, отодвигает мою кружку на край стола и берёт верхнюю тетрадь из стопки. Листает её большим пальцем, не читая.

Он доходит до середины стопки и кладёт тетради обратно.

— Мать тебе говорит, что надо учиться. Я понимаю, почему она так думает. Сейчас всем женщинам внушили: будет диплом и свои деньги — будет свобода. А раньше женщина знала, ради чего живёт. Свой дом. Свои дети. От неё зависело, будет семья или не будет.

Он говорит медленно и спокойно, объясняя очевидное.

— Ты вообще знаешь, как раньше было устроено? Девочка рождалась в семье отца и носила его фамилию. Выходила замуж — фамилия менялась. Вся жизнь была связана с мужчиной, который за неё отвечал. Веками так стояло, и никто не жаловался.

У меня внутри сжимается.

— Получается, у нас даже фамилии своей никогда не было?

Он переводит взгляд на меня.

— Не то что фамилии. У женщины и документов своих почти не было. Её вписывали сначала в документы отца, потом мужа. Собственности нет. Учиться нельзя. Зарабатывать нельзя. Без мужчины она никто.

Он произносит это без тени сомнения, перечисляя законы природы. Слова ложатся на меня по одному и ровно, и каждое весит столько, чтобы дышать было можно, а встать уже нельзя.

Я сижу прямо, руки на коленях. Ногти входят в ладонь ровно настолько, чтобы это чувствовалось, но не оставляло следов. Следы он заметит.

— А теперь вам дали права, документы, институты. И что вышло? Разводов больше. Каждый сам за себя. Женщины решили, что им никто не нужен, мужчины перестали понимать своё место. — Он усмехается. — Всё это феминистки начали. Боролись за равенство, кричали про свободу. Ну вот и добились. Семьи разваливаются, детей растят без отцов. Только счастливее почему-то никто не стал.

Феминистка.

Слово холодное и отталкивающее, оно царапает слух.

— Как это, воюют с мужчинами? — вырывается у меня. — Зачем?

— Они сами не знают, чего хотят, — отвечает отец. — Идут против порядка, ломают семью и всё, чем люди веками жили. Страшные женщины.

Я представляю себе коротко стриженных, со злыми лицами, в мужских пиджаках, без детей и без дома. Они ходят строем и воюют с мужчинами. Я не понимаю, зачем воевать с теми, рядом с кем нужно жить, и точно знаю, что не хочу быть одной из них.

Отец смотрит на мои учебники.

— Ты думаешь, диплом тебе что-то даст. Мужчина может найти женщину с дипломом. А жить он будет с той, рядом с которой спокойно. С той, которая умеет создать уют и терпеть.

Внутри у меня поднимается маленькое сопротивление, и я сама его пугаюсь.

— А если муж плохой? Если бьёт, например?

Отец смотрит прямо на меня. В комнате на секунду становится тихо. Где-то за стеной снова начинают сверлить.

— Значит, женщина где-то сама допустила ошибку. С мужчиной нельзя бороться и нельзя всё время доказывать своё. Нужно знать его характер и знать своё место. Раньше женщины это понимали.

— А если она не знала, что он такой?

— Значит, плохо смотрела.

Он говорит это без паузы, не задумываясь ни на секунду, и я понимаю, что ответ у него был готов задолго до моего вопроса. На любой мой вопрос у него готов ответ, и все они кончатся одинаково.

Он встаёт и поправляет рукав рубашки.

— Ты ещё многого не понимаешь. Тебе кажется, что жизнь — это твои желания. Семья строится не на желаниях.

Он берётся за ручку двери и оборачивается.

— Запомни одну вещь. Женщина без семьи никому не нужна. Все эти учёбы и дипломы временные. В конце концов каждая возвращается туда, где ей место.

Он выходит и не закрывает за собой дверь.

Из его комнаты включается телевизор. Слышно, как он переключает каналы, останавливается на новостях и прибавляет звук.

Я сижу ещё минуту и жду, что внутри поднимется хоть что-нибудь. Злость. Спор. Хотя бы обида. Не поднимается ничего. Всё, что он сказал, уже лежит во мне готовым и разложенным по местам, и он просто назвал вещи их именами.

Я встаю и отношу кружку на кухню. Мама всё ещё стоит у мойки, хотя картошка давно почищена. Я возвращаюсь к себе, складываю тетради стопкой, ровняю края, вешаю футболку в шкаф и задвигаю стул.

Комната становится идеальной. В ней всё стоит на своих местах. Кроме меня.

Продали

Я открываю глаза. И не сразу узнаю свою комнату. Низкий потолок давит сверху, под спиной кошма⁴, а от тандыра за стеной тянет холодной золой. Утренний свет держится у окна мутным пятном и вытаскивает из темноты только пыль на глиняной стене. Я лежу и долго не двигаюсь, слушая, как дом просыпается.

Колени остро упираются в ткань. Я вытягиваю руки поверх одеяла и смотрю на них. Пальцы тонкие, ладони маленькие, ногти коротко обрезаны ещё вчера вечером. Мать держала мою руку в своей и говорила, чтобы я не дёргалась. Сегодня на эти руки наденут браслеты. Они будут звенеть при каждом движении, и все увидят, что я уже не просто девочка из этого дома.

Ладони у меня расписаны хной⁵. Вчера ночью женщины сидели вокруг меня и водили по коже тонкой палочкой, и я сжимала кулак и не разжимала так долго, как могла. Я хотела, чтобы они ушли и чтобы завтра не наступило. Теперь узор лежит на ладонях тёмный, как засохшая кровь, и не смывается.

Я подтягиваю одеяло выше и смотрю в сторону сундука. Из-под крышки свисает край ткани. Платье приготовили вчера. Оно лежало рядом весь вечер, и я старалась на него не смотреть. Теперь оно кажется слишком большим. Слишком тяжёлым. Его шили для кого-то старше меня.

Дверь тихо открывается. В комнату входит мать, садится у низкого окна и зовёт меня к себе. Я подползаю к ней. Свет падает на пол бледной полосой, между нами кружится пыль. Мать берёт острый гребень.

Обычно она дёргает гребнем резко. Если он цепляется за волосы у виска или за сухую траву, которую я приношу из сада, она сразу сердится. Сегодня гребень проходит медленно, от макушки к концам. Голова уходит назад сама. Мать несколько раз останавливается и расправляет волосы пальцами.

— Потерпи, — говорит она.

Я молчу.

Она собирает мои волосы и снова ведёт гребнем по затылку. Ладонь задерживается дольше обычного. Я смотрю на солнечную полоску на полу. Мать больше ничего не говорит.

После она приносит платье. Я отворачиваюсь. Мне хочется, чтобы она убрала его обратно в сундук и все забыли про него и про этот день.

Когда его надевают на меня, ткань сразу тянет плечи вниз. Она тяжёлая и жёсткая и ложится на тело чужим слоем. Рукава закрывают кисти, пальцы прячутся внутри, подол собирается у ног и мешает идти. Я делаю шаг и запутываюсь в нём, цепляясь носками за складки.

Воротник упирается в шею и царапает кожу. Я пытаюсь оттянуть его пальцами, но мать перехватывает мою руку.

— Не трогай, — говорит она тихо. — Растянешь. Люди увидят.

Я убираю руку и стою неподвижно. Мать поправляет воротник сама, разглаживает складку, расправляет плечи платья и отходит на шаг. Смотрит внимательно, проверяя, всё ли получилось правильно.

Это платье вчера достали из сундука моей тёти. Его вынесли во двор, вытряхнули пыль, долго держали над паром, чтобы ткань стала ровной. Старшие женщины трогали подол, поправляли вышивку и переглядывались.

⁴ Кошма Плотный войлочный ковёр из овечьей шерсти, которым застилают пол.

⁵ Шаб-е хна Ночь перед свадьбой, когда женщины расписывают руки невесты хной. Невеста сжимает кулак и не даёт нанести узор, пока мать жениха не сделает ей подарок. Это единственный раз, когда она может чего-то потребовать.

— Ничего, — говорили они. — Девочка ещё вырастет.

Они смотрели на меня так, будто во мне было что-то недоделанное. Моё тело ещё оставалось детским, а платье уже принадлежало той жизни, в которую меня собирались отправить.

Сегодня меня отдадут мужчине.

Я увидела его впервые у калитки. Тёмный чапан⁶, тяжёлое лицо, густая борода, скрывающая нижнюю половину. Он старше моего отца или одного с ним возраста. Он говорил с отцом у дувала⁷, где тень от стены лежала на земле кривой чёрной полосой, и стоял с уверенностью человека, который пришёл забрать своё и не ждёт сопротивления ни от стены, ни от ковра, ни от девочки рядом.

— Маленькая, — сказал он, покосившись на меня.

— Женщина уже, — ответила тётка, стоявшая рядом с отцом. — Кровь пришла.

Эту кровь я пыталась скрыть. Она пришла в прошлом месяце ночью, с тупой тяжестью внизу живота. Я долго лежала на кошке, не смея поднять одеяло. Затем увидела тёмное пятно и свернула ткань так быстро, что руки не сразу начали слушаться. До рассвета я вышла во двор и тёрла кошму золой у глиняного корыта, пока кожа на костяшках не побелела от ледяной воды.

Я думала, что если смою кровь, то останусь девочкой ещё немного. До следующего месяца, до зимы, до дня, который не будет сегодняшним. Мать увидела мои руки утром. Она взяла меня за запястья и долго смотрела на содранную кожу, после пошла в угол, подняла одеяло и достала мокрую кошму. Села прямо на пол и закрыла лицо ладонью.

Вечером пришли старшие женщины. Они говорили за стеной, и до меня доходили куски слов. Пыталась скрывать. Ей уже пора. Пока цену дают. Дальше будет поздно. Так кровь, которую я хотела смыть золой, стала объявлением для всего дома. Моё тело само донесло на меня.

Через несколько дней этот мужчина снова пришёл к нам. Вечером, когда воздух уже остывал, я услышала голоса во дворе, спряталась за стеной и слушала, стараясь не шевелиться.

Отец говорил о зиме. О том, что она будет длинной, что муки может не хватить до весны, что младшие всё чаще просят хлеба. О долге за семена, который остался после посева и теперь висел над ним.

Они договорились, что двадцать мешков зерна привезут завтра.

За меня дают валвар⁸, и это в нашем доме считают удачей. Дочь соседа отдали по баад⁹, без всякой платы, за чужой грех, чтобы помирить две семьи. А за меня платят.

Мужчины вышли к загону. Тот человек привёл овец и хотел показать их отцу. Отец ходил между ними медленно и внимательно. Проводил рукой по спине каждой, проверял рёбра, смотрел, крепко ли животные стоят на ногах. Наклонялся, раздвигал шерсть пальцами, оценивал.

Я стояла неподалёку и ждала, что он посмотрит на меня. Хотя бы на секунду. Его взгляд проходил мимо. Он смотрел на овец.

Мужчина в чапане рассказывал о своём доме, о хозяйстве, о земле и о запасах еды. После сказал:

— Эта девочка будет жить у меня. Будет с честью носить моё имя, работать в моём доме и рожать детей моему роду.

Отец ничего не ответил. Только ещё раз провёл рукой по шерсти белой овцы.

Теперь мать затягивает пояс на платье, и ткань собирается у живота грубой складкой. Она смотрит туда, куда мне страшно смотреть самой. На мой плоский живот, на мои тонкие

⁶ Чапан Длинный стёганный халат, мужская верхняя одежда.

⁷ Дувал Глинобитный забор вокруг двора или сада.

⁸ Валвар Выкуп за невесту в Афганистане, на языке пушту. На дари то же самое называют тойана или ширбаха. Размер выкупа зависит от возраста и внешности девочки: чем младше, тем дороже.

⁹ Баад Обычай, при котором девушку отдают в чужую семью как плату за преступление или долг её родственника-мужчины. Выкуп при этом не выплачивается.

руки. Затем поднимает глаза к моему лицу и сразу отводит их. Вся её женская наука уместается в одном тихом приказе.

— Если ночью он придёт, — говорит она почти без голоса, — лежи смирно.

Она поправляет рукав и не смотрит мне в глаза.

— Если будет больно, терпи. Не кричи. Мужа нельзя позорить. Себя тоже нельзя. Утром встанешь, умоешься и пойдёшь помогать по дому.

Я слышу слова отдельно, вместе они не укладываются в голову. Мать говорит это тем же голосом, каким велит не трогать горячий тандыр и не бегать босиком по колючкам. Она даёт мне порядок, по которому надо пережить то, что уже решили. Я молчу, и моё молчание остаётся единственным, что ещё принадлежит мне.

Мать злится на моё молчание. Это видно по её рту, по складке между бровями, по тому, как резко она поправляет ленту в моих волосах. Она хочет, чтобы я кивнула и приняла её правило как своё. Я держу шею неподвижно. Воротник царапает кожу. Мать отступает и на миг делается очень старой.

За дверью кашляет отец. Следом мужской голос спрашивает, готова ли она. Не дочь. Не девочка. Просто она, вещь, которую должны вынести к повозке.

Мать открывает дверь, и в комнату входит холод из сеней. Я переступаю порог, мимо отцовского чапана на гвозде, мимо медного кувшина у стены, мимо ковра, который достают только к особым гостям. В сенях пахнет мокрыми сапогами и табаком. Я опускаю глаза и вижу грязные следы на полу. Новый башмак уже натирает пятку, и я иду ровно. Если начну хромать, скажут, что девочка слабая. Если споткнусь, мать будет краснеть перед мужчинами. Всё, что сделает моё тело, теперь говорит о семье, которая отдала меня, и о мужчине, который взял.

Во дворе утро яркое и сухое. Солнце стоит над глинобитной стеной белым пятном, не греет и только режет глаза. Возле тандыра ещё тлеют угли, из хлебной корзины пахнет лепёшками. Я больше не буду ждать здесь утренний хлеб и смотреть, как мать смахивает муку с рук и отламывает мне край.

Младший брат выглядывает из-за двери и грызёт ноготь. Ему велели молчать, и он тоже учится. Мужчины стоят у калитки, занимая слишком много места. Один перебирает чётки, другой сплёвывает в пыль.

Уши у меня горят. Моя кровь, которую я смывала золой в темноте, теперь стоит во дворе вместе с козами и зерном. Мужчины знают. Женщины знают. Даже мальчишка у двери со временем поймёт, почему меня увезли именно сейчас. Тело выросло на один шаг, и взрослые решили, что этим шагом можно заплатить.

Отец стоит рядом с человеком в чапане и смотрит куда угодно, только не на меня. На узду, на колесо повозки, на мешок с сухой травой. Я хочу, чтобы он увидел меня. Я стою в чужом платье, в узких башмаках, с царапиной от воротника на шее, с руками, которые вчера ещё держали камешки и перья. Отец поправляет верёвку на рогах рыжей козы и говорит, что эту надо вести осторожнее, она бьётся.

Тот человек подходит ближе. Его тень ложится на край моего платья, и ткань становится тяжелее.

Я стою тише козы.

От него пахнет табаком, конским потом и чужим домом, въевшимся в ткань. Он не трогает меня сразу. Сначала смотрит в глаза. Затем берёт моё запястье, кладёт большой палец на тонкую кость у кисти и слегка нажимает, проверяя крепость.

— Худая, — говорит он отцу.

— Откормится, — отвечает отец слишком быстро. — Работящая. В доме всё умеет.

Мать подходит ко мне. Поправляет платок на моих волосах и наклоняется к уху. Я жду слова, в котором будет хоть что-то настоящее. Прости меня. Беги от них. Я не смогла тебя защитить.

Она кладёт ладонь мне между лопаток, и на миг я снова чувствую её тепло. После шепчет: будь потише. Не смотри в упор. Спрячь свои клыки подальше. Не расти позор.

Пальцы у неё дрожат на моей спине. Я не двигаюсь. Если повернусь к ней сейчас и увижу в её лице хоть одну трещину, я развалюсь прямо здесь, перед мужчинами, козами и тандыром.

Я смотрю на повозку. Она старая, доски серые, изъеденные дождём, на дне лежит рогожа с влажным краем. Лошадь фыркает. На дуге болтается красная тряпка от дурного глаза, такая яркая, что на неё больно смотреть.

Я ставлю ногу на ступицу, подол цепляется за дерево и тянет назад, башмак скользит. Тот человек хватается меня за локоть и поднимает. Боль впивается до кости, но я проглатываю звук так глубоко, что он падает в живот и остаётся там.

Я сажусь. Дерево подо мной холодное и жёсткое. Он садится рядом, и от его тела давит сильнее, чем от тесного борта. Я отодвигаюсь к краю, пока доска не упирается в спину. Дальше отступать некуда. Он замечает это и усмехается.

Отец наконец смотрит на меня. На один миг. В этом взгляде нет прощания, есть усталость и просьба не мешать ему считать себя отцом. Ему легче смотреть на коз. Козы не придут к нему во сне и не спросят, почему он их отдал.

— Слушайся, — говорит он.

Из дома выводят моих младших сестёр. Они стоят у ворот и смотрят. Не машут рукой. Не плачут. Они ещё слишком маленькие, чтобы назвать то, что происходит, но их лица уже запоминают этот день. Через несколько зим одна из них тоже может оказаться у этих ворот. Ей тоже поправят платок и скажут, что так устроена жизнь. Только цена будет другой.

Повозка трогается, и двор начинает уходить назад. Мать стоит у крыльца, сцепив руки перед животом, платок съехал у неё на висок. Младший брат поднимает руку, и старшая женщина резко тянет его назад. Если все будут делать вид, что это обычный отъезд, вечером им легче будет есть хлеб из зерна, привезённого за меня.

Козы блеют у ворот. Одна рвётся в сторону и почти валит мальчика, который держит верёвку. Ей хотя бы можно упираться ногами в землю, и никто не говорит ей, что она должна быть благодарной.

Дом уходит крыльцом, тандыром, дувалом. Ветки в саду меня не выдали. Меня выдали люди.

Мужчина рядом молчит и сплёвывает за борт. К обеду он достаёт лепёшку, ломает её и жуёт, не глядя на меня. Мне он не даёт. Просить нельзя, и голод приходится держать внутри вместе со всем остальным.

Дом появляется за поворотом, у подножия голого склона. Широкий, глинобитный, с высоким дувалом и маленькими окнами. Нас встречает женщина с красными руками и тяжёлым лицом. Она смотрит на меня сверху вниз, проверяя, не треснула ли вещь в дороге.

— Эта?

— Эта, — отвечает мужчина.

Она берёт меня за подбородок и поворачивает лицо к свету. Пальцы у неё пахнут луком и кислым молоком. Тянет край платья, поджимает губы.

— Худая.

Мужчина усмехается.

— Откормится.

Во дворе уже собрались люди. Старик в чалме садится напротив и говорит слова, которых я почти не слышу. Мужчина отвечает за меня.

Меня уводят наверх, в комнату под крышей. Подол цепляется за ступени, башмаки скользят, каждая ступень скрипит подо мной. Наверху воздух холоднее. В углу сундук с железной скобой, у стены маленькое окно, из которого виден только задний двор. Кровать занимает

почти всё пространство. Деревянная рама прижата к стене, матрас под тонкой тканью сбился буграми, подушка пожелтела по краям от чужого сна.

Краснорукая бросает на кровать другую одежду.

— Снимай. В этом будешь только мешаться.

Она смотрит, как я стою у стены, и голос у неё становится жёстче.

— Сегодня твоя свадьба. Радуйся. В великий дом ты пришла.

Я стягиваю с себя это платье почти с яростью. Ткань цепляется за плечи, я дёргаю сильнее, воротник царапает шею и оставляет красный след. Наконец платье падает на пол, и я стою босиком на холодных досках и впервые за весь день снова чувствую своё тело.

Новая одежда грубая и пахнет чужим домом. Женщина складывает моё платье и убирает в сундук.

— Теперь твоё место здесь.

Она уходит, и снизу становится громче. Через пол доносятся голоса и звон посуды, со двора тянет горячим мясом и дымом от костра. Там сегодня отмечают мою свадьбу: сидят мужчины и старшие женщины, едят баранину и говорят о великом доме, который взял себе новую невестку.

Меня на этом празднике нет.

Девочка приносит лепёшку и чай, ставит на пол и уходит, не поднимая глаз. Хлеб здесь тяжелее нашего и садится в желудке камнем. Под ногтями у меня осталась земля из моего сада, и когда я подношу пальцы к лицу, запах дома ещё держится, слабый, под чужим дымом.

Я ложусь на бок и наконец начинаю плакать. Плачу без звука, потому что звук выйдет из комнаты и станет позором, и соль жжёт натёртую шею, и эта боль почти хорошая. Она моя. Её никто не купил.

Подушка пахнет чужой головой, и меня выворачивает, а рот остаётся закрытым. Я хочу стать дохлой птицей за стеной, сухой, лёгкой, с поджатыми лапами. Чем угодно, только не телом девочки, за которое уже заплатили.

Голоса внизу становятся дальше и глуше, во дворе смеются уже у ворот, лает собака. Я лежу лицом к стене и под этот шум проваливаюсь в сон.

Меня будят шаги.

Дом к этому времени уже затих. Посуда внизу отзвенела, собака во дворе улеглась, и в этой тишине по лестнице кто-то поднимается вверх, медленно и тяжело. Каждая ступень отзывается под чужим весом, а между шагами повисает пауза, от которой сон уходит из меня целиком.

В коридоре зажгли лампу. Под дверью появляется узкая полоска света. Шаги идут по половицам к моей двери, останавливаются перед ней, и я лежу лицом к стене, вытянувшись под одеялом, и слышу собственное сердце, которое бьётся так громко, что выдаёт меня.

Дверь открывается со скрипом, и свет доходит до самой стены.

Входит он.

Глава 4. Внешняя опора

В кабинете у меня стол, два стула и шкаф с папками до самого верха. Батарея под подоконником гудит с самой осени и к обеду нагревает воздух так, что клонит в сон. Из окна видно двор, где стоят мусорные баки и с утра до вечера кто-нибудь хлопает крышкой.

Я читаю, свожу цифры в таблицу, заполняю бланк и ставлю дату, после чего беру следующую папку и делаю то же самое. В коридоре катят тележку, звенят ключи, дальше по этажу открывается и закрывается тяжёлая дверь. Я привыкла к этому звуку так, что перестала его слышать.

Работа у меня скучная, и я поняла это довольно быстро. Зарплату видно насквозь: сначала уходит платёж за машину, следом еда и бензин, и к концу месяца на дне сумки остаётся мелочь.

Я молодая женщина с дипломом в рамке и с жизнью, которая целиком помещается между этим кабинетом и съёмной квартирой. Половина девочек из группы уже замужем и растит детей. На встречах выпускников меня спрашивают, как я, и я отвечаю, что работаю. Дальше про меня спрашивать нечего, и разговор сам собой уходит к чужим свадьбам и чужим детям.

Отца с нами нет несколько лет. В семье об этом молчат, и я молчу тоже, и внутри у меня осталась рана, которую запретили трогать.

В дверь заглядывает коллега.

— Идёшь обедать? Там сегодня солянка.

— Идите, я догоню, — говорю я. — Бумаги доделаю.

— Ты вчера то же самое сказала.

— Правда догоню.

Она пожимает плечами и уходит, и я слушаю, как её шаги удаляются по коридору. Есть мне сегодня совсем не хочется.

Телефон лежит на столе экраном вверх, слева от бланков. Я положила его так с утра и с тех пор не переворачивала.

Он молчит уже несколько дней.

Я несколько раз за день открывала мессенджер и видела, что он в сети. Он заходит, читает, выходит. Телефон при нём, и молчит он сознательно.

Мы вместе полгода. В прошлые выходные он говорил про лето, про то, что давно никуда не выбирался и что надо свозить меня к морю. Говорил спокойно, между двумя другими темами, как о деле уже решённом, и я весь вечер несла это в себе, как несут что-то хрупкое.

Мы познакомились в ноябре.

Наш отдел собрался в баре отмечать чей-то день рождения, и я пошла, потому что отказываться было неудобно. В тот вечер я выглядела хорошо, и я это знала. Чёрное платье, которое сидит как надо, уложенные волосы, туфли на устойчивом каблуке, в которых можно ходить весь вечер. Я редко нравлюсь себе в зеркале, а в тот вечер понравилась.

Внутри было темнее, чем на улице, музыка шла слишком громко, в воздухе стояло тепло от кухни, сладкий шлейф духов и терпкий запах алкоголя. Я села с краю, взяла красное сухое и через полчаса уже никого не слушала. За столом вспоминали прошлый корпоратив и смеялись над тем, что понятно только им.

Музыка ненадолго стихла. На сцене двигали стойки и проверяли микрофоны, и в этой паузе стало слышно соседний столик.

Их было двое. Один сразу притягивал взгляд. Высокий, русоволосый, с большими карими глазами, которые смотрели прямо и держали чужой взгляд столько, сколько им было нужно. Даже сидя он занимал всё пространство вокруг себя. Он откинулся на спинку стула,

держал бокал уверенно и время от времени касался часов на запястье привычным движением, проверяя, на месте ли они.

Он говорил, а второй слушал.

— Ты всё ещё деньги на вкладе держишь? — произносит он с лёгкой усмешкой.

Мужчина напротив него смеётся.

— А что такого? Зато спокойно.

Он смотрит на него с лёгкой улыбкой и качает головой.

— Спокойно только кажется. Ты сам подумай. Такие суммы держать просто на счёте? А если правила изменятся? А если банк начнёт ограничивать выплаты? Ты же понимаешь, что никто потом не побежит спасать твои деньги.

Собеседник пожимает плечами.

— Ну а куда тогда?

— В то, что имеет реальную ценность, — говорит он, и ответ у него готов заранее. — Надо смотреть дальше сегодняшнего дня. Пока одни ждут подходящего момента, другие уже покупают.

Мужчина напротив снова что-то говорит, пытается возразить. Он слушает, слегка усмехается.

— Ты всегда ждёшь, когда всё станет понятно. Но в жизни такого момента не бывает. Кто принимает решения, тот и получает результат.

Он говорит легко и уверенно о том, что для меня остаётся тёмным и далёким. Я слушаю и ловлю себя на том, что смотрю на него слишком долго.

Он поймал мой взгляд. Мы смотрели друг на друга несколько секунд, и я отвела глаза первой и сделала вид, что мне интересен разговор коллег. В груди у меня застучало быстрее, и это меня разозлило: я привыкла решать сама, а тело решило за меня.

Позже я ушла к барной стойке. Там было свободнее. Я попросила бармена сделать что-нибудь не слишком сладкое, он достал лёд, и кубики застучали о стенки шейкера. Я смотрела на его руки и ни о чём не думала.

Передо мной появился бокал, холодный, с каплями по стеклу, и я успела сделать первый глоток.

— Здесь свободно?

Я обернулась. Рядом со мной стоял тот самый мужчина от соседнего столика, и я не сразу поверила своим глазам.

Он сел и кивнул бармену.

— Мне то же самое, — говорит он, показывая на мой бокал.

— Хороший выбор, — говорю я и улыбаюсь.

— Посмотрим, — отвечает он с лёгкой улыбкой. — Проверим.

Мы говорили про музыку, про то, что здесь всегда слишком громко, про людей у сцены. Он спросил, кем я работаю, я ответила размыто, и он не стал допытываться.

— Ты, я смотрю, тихая, — сказал он, разглядывая меня. — Обычно на таких вечеринках девушки шумные, лишь бы их заметили. С тобой, наверное, легко.

Я улыбнулась, и внутри стало теплее. Он выделил меня и в ту же секунду объяснил, за что именно: за то, что я тихая и со мной легко. Тогда я услышала только первую часть.

Он протянул руку и взял мой телефон со стойки, не спросив разрешения. Набрал свой номер, дождался звонка у себя в кармане и вернул телефон мне.

— Всё, теперь будем на связи.

Всю дорогу домой я улыбалась в темноте салона, как ненормальная, и ловила у себя под рёбрами тех самых бабочек, о которых пишут в книжках. Бабочки эти оказались с железными крыльями и точили меня изнутри всю дорогу.

Первое время он писал каждый день. Утром спрашивал, как я спала, днём присылал что-нибудь смешное, вечером звонил и говорил со мной до тех пор, пока у меня не садился телефон. Он помнил, во сколько у меня совещание, и писал сразу после. Я привыкла к этому за неделю так, как привыкают к теплу.

Потом он исчез на несколько дней. Когда появился, говорил со мной ровно и спокойно, и спрашивать о его молчании оказалось невозможно. Я сказала себе, что у взрослого человека бывают дела.

С тех пор это повторяется. Он исчезает, а после появляется с объяснением: завал на работе, поездка, встречи одна за другой. Я одновременно верю ему и сомневаюсь, и живу где-то между этими двумя состояниями.

Вечером я складываю папки в шкаф, мою чашку, выключаю лампу. Всё это я делаю, держа телефон в поле зрения.

Дома я раздеваюсь, ставлю чайник и забываю про него. Вечер впереди длинный, и заполнить его нечем.

Все эти дни я плохо сплю. Ложусь и лежу с открытыми глазами, слушаю, как в кухне капает кран, и перебираю нашу последнюю встречу по минутам. Что я сказала. Как засмеялась. Слишком ли много говорила про свою работу, ему же скучно. Показалась ли навязчивой, когда написала первой. Я нахожу пять мест, где всё испортила, и каждое из них жжёт отдельно.

Я беру телефон и начинаю писать ему. Выходит длинно, я перечитываю и вижу со стороны женщину, которая цепляется, и стираю всё до последней буквы.

Потом выключаю свет на кухне, встаю у окна и набираю номер.

Гудки идут долго. Я считаю их, чтобы отвлечься.

— Да?

Голос у него обычный, спокойный, чуть отвлечённый. Он взял трубку, и я к этому оказалась не готова.

— Привет, — говорю я и слышу, какая я навязчивая.

— О, привет. Слушай, я освободился. Давай поужинаем. Я заеду за тобой, собирайся.

— Подожди. Почему ты...

— Потом поговорим, — перебивает он легко, без всякого нажима. — Скоро буду. Надень что-нибудь красивое.

Он кладёт трубку.

Я стою у окна с погасшим телефоном в руке и понимаю, что уже иду к шкафу.

Ресторан он выбирает сам, как всегда. Здесь приглушённый свет и тяжёлые скатерти, официант узнаёт его ещё от дверей и ведёт нас к столику у окна. Он уже там и встаёт, когда я подхожу. От него пахнет холодом с улицы и одеколоном.

— Ты замёрзла, — говорит он и тянется накрыть мою руку.

Я утираю руку под стол и говорю, что мне тепло.

Он заказывает за нас двоих, не спрашивая. Я молчу.

Сначала я держусь. Отвечаю коротко, смотрю в тарелку, спрашиваю про его дела так, как спрашивают у соседа в лифте. Он рассказывает, как чуть не сорвалась сделка: человек тянул до последнего, назначал встречи и переносил, а он сидел и ждал, потому что знал, что тот всё равно придёт. Рассказывает хорошо, с паузами в нужных местах, и в том месте, где я обычно смеюсь, я просто беру вилку.

Он доводит рассказ до конца, отпивает вина и вдруг спрашивает:

— Поедем потом ко мне?

— Сегодня вряд ли, — говорю я. — Завтра рано вставать. И бумаги надо доделать.

Он молчит несколько секунд. Отодвигает тарелку.

— Так. Ты обиделась.

— Ты столько дней молчал.

— Да ладно тебе. Писал я тебе.

— Когда?

— В выходные писал. Что я дома. Ты же видела.

— Это было в выходные. А я ждала. Я волновалась. Можно же было просто написать, что всё в порядке.

Он ставит бокал резче, чем нужно, и в голосе появляется металл.

— Подумаешь, пару раз не ответил. Я работал. Ты же не думаешь, что я должен отчитываться каждый час.

Я молчу. Спорить дальше страшно.

Он смотрит на меня и видит, что я отодвинулась внутрь себя. Лицо у него разглаживается, голос становится мягче.

— Понимаешь, я просто не люблю всё это, — говорит он почти ласково. — Где был, почему не позвонил, почему не написал. У меня такое уже было, я больше не хочу.

Он накрывает мою руку своей.

— Ты же не такая.

И я киваю. Я киваю, потому что я не такая. Я не та женщина, которая пилит и проверяет. Я спокойная, я всё понимаю, со мной легко.

— Ну вот и умница.

Он берётся за вилку и продолжает про свою сделку с того места, где остановился. Дальше вечер идёт мягче. Он говорит про май, что у него будет свободная неделя и билеты надо брать заранее, говорит, что на выходных у него освободилось время и мы можем уехать за город вдвоём. Я слушаю и вижу эти два дня так ясно, как видят уже случившееся.

Зал понемногу пустеет. Официант подходит к столу, кладёт папку со счётом на середину и говорит, что заведение скоро закрывается.

В эту минуту у него звонит телефон. Он берёт трубку и разговаривает весело, по-приятельски, про какие-то общие дела, отвернувшись к окну.

Я смотрю на папку. Смотрю на него. Смотрю на официанта, который стоит рядом и ждёт.

И я тянусь к папке сама. Мне хочется закончить этот вечер быстрее. И ещё мне хочется показать, что я ни в чём не нуждаюсь и сижу здесь не ради его ужинов.

— Сегодня я, — говорю я.

Он на секунду прикрывает трубку рукой, поднимает брови.

— Как скажешь.

Я открываю папку. Цифра там больше, чем я рассчитывала: вино, которое он заказал в конце, стоит как половина ужина. Я кладу карту, не глядя на неё, и отдаю официанту. Тот уносит папку к стойке.

Возвращается он быстрее, чем нужно. Наклоняется ко мне и говорит вполголоса, так, чтобы слышала только я, что операция не прошла и, может быть, я захочу попробовать другую карту.

Уши у меня загораются мгновенно. До зарплаты ещё несколько дней, и я это знала, когда лезла в сумку.

Я достаю вторую карту, ту, где лежат отложенные на платёж деньги, и протягиваю, не поднимая глаз.

Официант уходит и через минуту приносит чек и благодарит.

За столом тихо. Вся моя прямая спина куда-то делась за полминуты.

— У тебя всё нормально? — спрашивает он, убирая телефон.

И я начинаю говорить. Что машина в кредит и осталось ещё полтора года, что я всё считала и была уверена в своих расчётах, что в этом месяце всё сошлось неудачно. Я говорю быстро, добавляю подробности, которые ему не нужны, и слышу свой голос со стороны. Я оправдываюсь. Меня никто не обвинял.

Он молчит и смотрит. Я жду вопроса, после которого станет совсем плохо.

Он отодвигает чашку и ставит локоть на стол.

— Мне не нравится, когда у моей девушки есть долги, — говорит он. — Давай закроем это.

Я поднимаю на него глаза.

— Скинь мне договор, — говорит он и достаёт телефон. — Прямо сейчас, чтобы не забыть.

Я нахожу файл в почте и отправляю ему через стол. Он смотрит, как файл открывается, и кивает.

— Ну вот. Больше об этом не думаешь.

Я сижу и не понимаю, как так бывает. Человек молчал столько дней, а теперь одним движением снимает с меня то, что я тащила полтора года. Всё, что копилось во мне эти дни, ушло куда-то вниз, и я не знаю, куда именно.

На улице он идёт со мной до моей машины, берёт скребок и быстро счищает стекло, которое успело затянуться, пока мы сидели.

— Садись, грейся.

Он стоит у открытой двери и ждёт.

— Ну что, поехали ко мне? Бумаги твои до завтра дотерпят.

Я киваю и сажусь за руль.

Мы едем двумя машинами. Он впереди, я за ним. На светофоре он проскакивает на жёлтый, а я остаюсь стоять на красный, одна, с работающими дворниками.

Я знаю дорогу к его дому. Я всё равно боюсь, что не догоню.

Глава 5. Покупка

Он приезжает ко мне поздно вечером, прямо с работы, не переодеваясь. Ставит сумку на пол, снимает куртку и проходит на кухню так, будто живёт здесь всегда, хотя заходит редко.

В дверях он притягивает меня к себе, обнимает крепко, одной рукой держа за спину, и целует в макушку.

— Замёрз как собака. Чайник поставь.

Он садится, достаёт из внутреннего кармана пачку денег в банковской упаковке и кладёт её на стол рядом с моими бумагами. Пачка тонкая и плотная. Весь мой ужас, растянутый на месяцы вперёд, помещается в неё целиком.

Я медленно сажусь за стол рядом с ним и смотрю на эти деньги, не двигаясь. Значит, правда. Он собрал всю сумму и привёз её сюда, ко мне на кухню, где она лежит поверх моих квитанций.

— Завтра поедем вместе, — говорит он. — С самого утра завезу тебя в банк, там очередей нет.

— С утра я работаю. Могу после.

— Да что там твоя работа. — Он усмехается и берёт меня за руку. — Поженимся, бросишь её вообще. Я нас вытяну. Толку-то с неё, если ты машинку себе купить не можешь.

Он тянет меня к себе, и я оказываюсь у него на коленях. Руки у него тяжёлые и горячие, они ложатся мне на спину и держат так, что можно перестать держаться самой. Он целует меня в шею, у самого края волос, и по коже идёт волна вниз, до самых пят.

— Я отдам, — говорю я.

— Что ты отдашь?

— Ну... частями. Я посчитаю, сколько выходит в месяц. Хотя бы без этих грабительских процентов.

Он смотрит на меня и смеётся. Смеётся хорошо, тепло, откидывая голову, и я тоже начинаю улыбаться, хотя не понимаю, что смешного.

— Ты меня вообще за кого держишь? Всё. Забыли. Мне спокойнее, когда у моей любимой нет хвостов.

Я утыкаюсь ему в шею. От него пахнет парфюмом, тяжёлым и тёплым, который к вечеру смешивается с его собственным запахом, и от этого запаха у меня отключается голова. Я вдыхаю глубже, чем нужно, он это чувствует и прижимает меня крепче.

Ночью я лежу рядом с ним и слушаю, как он дышит. Люди не отдают деньги просто так. Значит, всё это всерьёз, и впервые за долгое время я засыпаю спокойно.

Утром я звоню на работу и говорю, что приеду позже. Я никогда так не делаю, и голос у меня выходит виноватый, а на том конце спрашивают только, всё ли в порядке.

Он высаживает меня у банка и уезжает.

Внутри всё оказывается быстрее, чем я думала. Женщина в окошке считает деньги машинкой, потом дважды пересчитывает вручную, слюнявя палец. Печатает справку, ставит печать, поворачивает ко мне монитор. Строка, которая висела передо мной полтора года, становится нулём.

Я выхожу на ступеньки со справкой в руке.

Его машина стоит у бордюра с работающим двигателем. Он выходит и идёт мне навстречу с бумажным стаканом кофе в каждой руке.

— Ну что, свободная женщина?

— Ты откуда тут?

— Да я тут рядом был по делам. — Он протягивает мне стакан. — Решил дождаться. Такое дело раз в жизни бывает.

Мне становится тепло и стыдно одновременно. Я целую его в холодную щёку и беру кофе двумя руками.

— Садись, погрейся, — говорит он. — Пять минут. Работа твоя подождёт.

В его салоне тепло, играет радио, и пахнет им. Он кладёт руку мне на колено, и какое-то время мы просто сидим и пьём кофе.

— Слушай, — говорит он. — А давай твою продадим.

— Как продадим?

— Вот так. Продадим и возьмём тебе нормальную. — Он поворачивается ко мне на секунду. — Ты вот эту хотела? Как у меня, только поменьше?

Я хотела. Я говорила ему про это один раз, летом, когда мы стояли на светофоре рядом с такой же. Я даже не думала, что он запомнил.

— Ну да, — говорю я. — Хотела.

— Ну вот. Продадим твою, я добавлю, возьмём.

Я смотрю в лобовое стекло, и внутри поднимается что-то горячее и быстрое. Я вижу себя в этой машине: подъезжаю к работе, выхожу, ловлю на себе чужие взгляды.

— Она же нормально ездит. Жалко.

— Жалко у пчёлки. — Он усмехается. — Слушай меня. Она у тебя старая. Через год начнёт сыпаться, и ты будешь по сервисам бегать и деньги в неё закапывать. Продавать надо сейчас, пока она чего-то стоит.

— Я за неё полтора года платила.

— Ну и умница. Значит, ухаживала, всё вовремя делала. Такие уходят быстро.

— Я не про это.

— А про что?

Я не знаю, как объяснить. Внутри неё лежат все эти месяцы, каждый платёж и каждая ночь перед ним. Я выбирала её сама, ездила смотреть, торговалась до последнего, и когда подписывала бумаги, у меня дрожали руки от гордости.

— Ни про что, — говорю я.

Он сжимает мне колено.

— Ты не думай, что я тебя без машины оставлю. Тебе пойдёт большая. Будешь сидеть высоко и всё видеть.

Объявление мы пишем в тот же вечер, у меня на кухне. Он диктует, я печатаю.

— Пиши: не бита, не крашена.

— Она крашена. Крыло переднее.

— Кто это видел?

— Ну как... Приедут, посмотрят.

— Приедут и посмотрят, тогда и скажешь. — Он забирает у меня телефон и правит текст сам. — А в объявлении пиши как надо, иначе к тебе вообще никто не приедет. Так. Один хозяин.

— Я второй.

— Ты первая женщина. — Он поднимает на меня глаза. — Тебе продать надо или что?

Я молчу, и он продолжает печатать.

— И вот ещё. Когда позвонят, ты не говори, что срочно продаёшь. Скажи: думаю ещё, есть варианты. Пусть побегают.

Он объясняет мне, как отвечать на вопросы, где сбрасывать, а где стоять насмерть, в какое время выставлять, чтобы висело первым. Он говорит быстро, уверенно, и я понимаю, что он делал это много раз.

— Ты вообще откуда всё это знаешь?

— Оттуда, — говорит он. — Я смолоду машинами занимался. Кормился с этого.

Я смотрю на него и не могу перестать восхищаться. Он видит эту сделку насквозь, знает каждый её поворот и держится так, будто заранее знает, чем всё кончится.

Через несколько дней я продаю её. Деньги отдаю ему в тот же вечер, он берёт конверт не считая и убирает во внутренний карман.

В салоне мы проводим полдня. Он разговаривает с менеджером на равных, спрашивает про расход и про то, что входит в комплектацию, требует показать другую машину, уходит курить и возвращается, а под конец сбивает цену на сумму, которую я бы никогда не сбила.

Менеджер обращается к нему, а не ко мне. Я сижу рядом и молчу, потому что ничего в этом не понимаю.

Машины мы берём белую, ту самую, которая понравилась мне сразу.

Менеджер раскладывает перед нами бумаги.

— На кого оформляем?

— На меня, — говорит он.

Я поднимаю голову.

— Почему?

— Так дешевле по страховке. У меня стаж, у меня скидка. И налог меньше. — Он даже не отрывается от документов. — Какая разница, ездить-то будешь ты.

Менеджер кивает, подтверждая, что так действительно многие делают.

— Ну да, — говорю я. — Какая разница.

Через несколько дней я приезжаю на ней на работу.

Девочки высыпают на крыльцо в накинутах пальто, ходят вокруг, заглядывают в салон, трогают краску.

— Ничего себе. Это твоя?

— Моя.

— Красивая какая. Дай посидеть.

Одна садится за руль, держится за него двумя руками и смеётся. Меня поздравляют наперебой, кто-то говорит, что мне повезло, кто-то что мне надо было раньше себе такого мужика найти.

— Вот это я понимаю, любит, — говорит она. — Мой бы мне такую в жизни не купил.

Я стою рядом, улыбаюсь и жду, когда они закончат. Радости внутри нет. Я стою у своей новой машины, слушаю, как её хвалят, и чувствую себя женщиной, которой дали поддержать чужое.

Я списываю это на усталость.

В тот же день он звонит мне на работу.

— Приезжай сегодня ко мне с ночёвкой. Соскучился.

— Прямо с работы?

— Прямо с работы. Собери сумку с вечера, чтобы утром домой не заезжать.

Я стою в коридоре у окна и уже думаю, что надену и что взять с собой, и от этого «соскучился» внутри становится тепло.

— И вот ещё, — говорит он. — У меня движок застучал, завтра ставлю в ремонт. Так что твою я утром заберу. Дня на три.

Я не сразу понимаю, что он сказал.

— В смысле заберёшь?

— В прямом. Мы же всё равно вместе утром выйдем. Я тебя до работы закину и поеду.

Он всё продумал. И ночёвку, и то, что я приеду к нему на своей машине, и то, что утром эта машина будет стоять у его подъезда, а ключи будут лежать в его прихожей.

— У меня в пятницу встреча на другом конце города.

— Ну возьмишь такси, я дам денег.

— Дело не в деньгах.

— А в чём? — В трубке становится тише, он выходит из шумного места. — В чём тогда дело?

— Мне неудобно без машины.

— А мне удобно без машины? — Он говорит спокойно, и от этого спокойствия мне хуже, чем если бы он кричал. — Я в понедельник в область еду, по деньгам. А ты мне сейчас про неудобно.

— Я ничего такого не имела в виду.

— Да нет, имела. — Пауза. — Слушай, я вообще не понимаю. Я тебе кредит закрыл. Я тебе машину купил, ты на ней неделю катаешься. А я прошу на три дня.

Я смотрю в окно на свою машину, которая стоит внизу на парковке, белая, чистая, с чужой фамилией в документах.

— Хорошо. Забирай.

— Ну вот и умница. Приезжай вечером, приготовлю что-нибудь.

Он кладёт трубку.

На следующее утро я выхожу из его подъезда одна. Он уехал затемно, взял мои ключи с крючка в прихожей, поцеловал меня в висок и сказал, чтобы я закрыла дверь и оставила ключ под ковриком.

Во дворе стоит только моя машина, белая и чистая, и я прохожу мимо неё к остановке.

Автобус идёт полный. Через несколько остановок я решаю, что дойду пешком, и иду по мокрому тротуару, обходя лужи, в тонких туфлях, которые надела вчера ради него. К работе ноги промокли выше щиколотки.

Девочки стоят на крыльце и курят.

— О, а ты чего пешком? — говорит одна.

— А твоя где? — спрашивает та, что на прошлой неделе садилась за руль.

— В ремонте.

Я говорю это сухо, коротко, и слышу, как это прозвучало. Она поднимает брови и переглядывается с другой.

— Так она же новая совсем.

— В ремонте, я же сказала, — повторяю я и прохожу мимо.

В коридоре я снимаю мокрые туфли и иду до кабинета в носках.

Глава 6. Вход в систему

Он вырос в полной семье, и это сразу становится для меня аргументом. Тяжёлым и почти неоспоримым. Его родители живут вместе год за годом, под одной крышей, и после каждого удара их жизнь просто продолжается. Рядом с этим моя собственная история выглядит неровной, с провалами и паузами, которые я привыкла носить внутри как скрытый изъян.

Про своё детство он говорит скупно, но иногда мне удаётся вытянуть из него истории. Как отец возился с ним в гараже, как они разбирали мотор, а потом шли на кухню с чёрными от масла руками, и мать ворчала, но всё равно ставила ужин. Я слушаю и достраиваю внутри весь этот дом. Моя семья однажды рассыпалась. Рядом с ними это больше не повторится.

Первый визит к его родителям я проживаю как проверку. Собираюсь слишком долго, три раза меняю кофту, злюсь на собственную нервозность и не могу её остановить. В машине он расслаблен, ведёт одной рукой и говорит без перерыва: про работу, про пробку, про какую-то ерунду, которая в другой день показалась бы смешной. Я отвечаю невпопад и всё время разглаживаю пальцами ткань на коленях.

Он сворачивает во двор старой девятиэтажки, одной из тех, мимо которых проходят каждый день и не замечают. В подъезде местами облупилась краска, у двери лежит выцветший коврик. Лифт поднимает нас медленно, внутри пахнет пылью, металлом и чужими квартирами.

Он идёт впереди и не задумывается, куда нажимать. Этот подъезд помнит каждый год его жизни.

Звонок отдаётся внутри квартиры коротким ударом. Дверь открывается почти сразу. На пороге его мать: домашний халат, небрежно собранные волосы, мокрые руки, с которых она ещё стряхивает воду. Она не выглядит человеком, который готовился встречать гостей.

Её взгляд медленно проходит по мне и задерживается там, где обычный человек уже отвёл бы глаза. Я стою с улыбкой, которую поздно убирать.

— Проходите.

Одно слово. Без улыбки, без попытки сделать голос мягче.

Из глубины квартиры вылетает отец. Увидев сына, он расплывается в улыбке, хлопает его по плечу, оглядывает с ног до головы.

— Ну наконец-то. Я думал, не приедешь.

— Да еле добрались.

— Говорил же, надо раньше выезжать.

Они уходят в комнату, не переставая говорить. Голоса удаляются вглубь квартиры, а я остаюсь у входа с пальто в руках.

Несколько секунд я стою неподвижно. Позвать его? Пройти самой? Он уже там, внутри дома, где ему знаком каждый угол, а я стою в прихожей и не понимаю, куда поставить ноги.

Его мать замечает меня и машет рукой в сторону кухни.

— Проходи. Чего стоишь?

Я открываю шкаф в прихожей. Свободной вешалки нет. Шкаф забит старыми куртками, которые пережили уже несколько чужих жизней и не уступают места ничему новому. Я с усилием проталкиваю между ними своё пальто.

Квартира старая и вычищенная до блеска. Вдоль стены тяжёлый сервант с потемневшим лаком, за стеклом хрусталь и фарфоровые чашки с золотой каймой. На стене фотографии в одинаковых рамках: на одних молодые лица, на других уже седые. Дерево потемнело, краска местами истёрлась, но стёкла блестят, полировка отражает свет, в воздухе стоит запах уборки. Порядок здесь доведён до болезненного.

Из комнаты доносится мужской смех, глухой и свободный. Отец рассказывает про знакомого, который не смог завести машину в мороз. Сын подхватывает, оба перебивают друг друга, разговор идёт легко, по давно знакомому руслу.

А я стою на кухне рядом с его матерью и не знаю, куда деть руки.

Она в постоянном движении. Открывает духовку, закрывает. Споласкивает и без того чистые тарелки. Достает ложки. Снова протирает стол. Руки сами знают этот порядок лучше, чем она успевает подумать.

— Садись... нет, подожди.

Я выпрямляюсь. Она поправляет съехавшую подушку на стуле, несколько раз проводит по ней ладонью.

— Вот так лучше.

Потом шумно выдвигает ящик.

— Господи, куда он опять дел вилки.

Она ставит на стол блюдо и сразу уходит к плите, сдвигает крышку с кастрюли, проверяет огонь. Посуда стучается о стол громче, чем нужно.

Я поднимаюсь и тянусь к салатнику.

— Давайте я...

— Не надо, я сама.

Она бросает это через плечо. Я отдёргиваю руки.

Через пару минут мужчины заходят на кухню и садятся. Отец кладёт руку на спинку стула сына и продолжает рассказывать.

— Помнишь, как мы на даче генератор разбирали?

— Помню. Ты тогда полдня доказывал, что дело в свече.

— Так свеча и была.

— Пап. Бензин кончился.

— Ну вот, а кто его должен был проверить? Я думал, ты уже взрослый специалист.

— Конечно. Специалист слушать твои версии.

Они смеются одновременно. Я улыбаюсь вместе с ними, но реплики цепляются за старые события и за имена, которые мне ничего не говорят. Они внутри своей общей памяти, а я стою у её края.

Его мать почти не садится. Опустился на стул и тут же поднимается. Забирает пустую чашку, поправляет тарелки, замечает, что заканчивается хлеб, тянется к буфету, подливает чай, подкладывает салат.

— Ешьте, чего не едите.

— Тебе салат положить? Нет, этот не бери, там майонез.

— Ой, хлеб закончился.

Её голос доносится из разных концов кухни. Мужчины смеются и вспоминают, она держит этот вечер на руках, а я сижу посередине, как та самая свеча из их истории, которую забыли проверить перед дорогой.

Через какое-то время отец поднимается.

— Ну что, пойдём в комнату, покажу тебе кое-что.

Они уходят вдвоём, продолжая говорить. Голоса удаляются, потом снова слышен смех.

И я остаюсь с ней.

Мы сидим вдвоём среди тарелок, запаха котлет и звука льющейся воды. Она моет уже чистую чашку.

— Очень вкусно, — говорю я.

— Угу.

Пауза.

— Вы давно этот сервиз покупали?

— Давно.

Она не поддерживает ни одну тему. Потом останавливается рядом со мной и смотрит тем спокойным оценивающим взглядом, который я уже начинаю узнавать.

— Ты готовить-то сама умеешь или мама только готовит тебе?

Я улыбаюсь, стараясь, чтобы это вышло естественно.

— Да вроде умею.

— Вроде, — повторяет она и усмехается краем губ. — Ну научись.

Она снова берёт со стола чашку.

— А то сейчас молодым девушкам только рестораны да доставки подавай. Готовить толком не умеют. А потом удивляются, что мужа по сторонам смотреть начинают. Мужики уют любят. Где о них заботятся, туда и тянутся.

Я молчу. Внутри уже поднимаются слова: что я умею, что я готовлю, что мой дом будет таким же, что я тоже могу быть женщиной, к которой возвращаются. Я задерживаю их.

Она пересаживается на стул рядом со мной, тот самый, где недавно сидел её сын. Садится слишком близко, поворачивается ко мне всем корпусом, её плечо почти касается моего. Мне хочется отодвинуться, но между стулом и стеной места нет.

— А папа твой где? — спрашивает она.

Я не сразу понимаю, что вопрос ко мне.

— Что?

— Ну папа. Сын сказал, у тебя одна мама. А что случилось?

Вопрос звучит слишком просто для того, чего касается. Я смотрю на неё и теряюсь. Она видит меня первый раз в жизни и уже открывает руками ту дверь, которую я держу закрытой.

— Произошёл несчастный случай, — говорю я.

Слова выходят сухими.

— А какой?

Я молчу.

— Ну а что именно случилось?

Она спрашивает спокойно. Для неё это просто часть разговора, желание узнать человека, который сидит за её столом рядом с её сыном.

В горле поднимается комок, который невозможно проглотить.

— Просто несчастный случай, — повторяю я тише.

Она ещё секунду смотрит, ожидая продолжения.

В дверях появляется её сын.

— Нам, наверное, пора.

Он не замечает, что здесь только что произошло. Или замечает и не придаёт значения.

Я встаю слишком быстро. Пальто выдёргиваю из шкафа и надеваю в коридоре, пока они прощаются. Ещё несколько часов назад мне так хотелось попасть в этот дом. Сейчас я думаю только о лестничной площадке и о том, чтобы выйти и вдохнуть.

В машине мы несколько минут едем молча.

— Всё нормально?

— Да. Просто устала. Голова давит.

Фонари скользят по стеклу. Потом я всё-таки спрашиваю:

— Слушай, а твоя мама всегда такая?

— В смысле?

— Ну... она первый раз меня видит и сразу спрашивает про отца. Про то, что случилось.

Он даже удивляется.

— А что такого? Ей интересно просто. Она всегда такая, у неё врагов нет, она ни с кем не ссорится. Стиль общения такой. Ты же психолог, воспринимай проще.

— Дело не в том, что она меня обидела. Просто мы только познакомились. Я ещё не готова рассказывать такие вещи.

— Она и меня спрашивала. У неё такая манера общения, просто.

Я поворачиваюсь к нему.

— И что ты ответил?

Он пожимает плечами.

— Что это твоё дело. Захочешь — сама расскажешь.

Внутри отпускает. Он всё-таки понимает и знает, как мне больно об этом рассказывать. Он оставил мне право решать самой.

Глава 7. Юбка

После той первой встречи я приезжаю к ним ещё много раз. Каждый раз узнаю этот подъезд и запах лифта, въевшийся в бетон, и каждый раз, когда двери открываются, мне хочется постоять внутри ещё пару секунд.

Но я иду.

В их доме всё делается определённым образом, и правила эти нигде не записаны. Обувь снимают у самого коврика и ставят носками к двери. Полотенце для рук висит справа, для посуды слева, и путать их нельзя. Чай наливают сначала старшим, а сахарницу передают из рук в руки. Хозяйку хвалят дважды, в начале ужина и в конце.

Всему этому я выучиваюсь быстро. Стараюсь меньше замечать, меньше цепляться за слова, улыбаться, когда нужно, и помогать на кухне, когда позволяют. Позволяют не всё: нож у меня забирают мягко, как выручают гостью, а тарелки после меня иногда перебивают молча. Делаю вид, что не вижу.

Я говорю себе, что близость приходит постепенно.

И однажды она достаёт из шкафа старые отрезы ткани.

Они лежат глубоко, аккуратно сложенные один на другой. Она разворачивает каждый свёрток медленно, стряхивает невидимую пыль, проводит ладонью по заломам. Движения у неё становятся мягче, из них уходит та резкость, с которой она обычно ходит по кухне.

— Это ещё от моей мамы осталось. И от бабушки кое-что. Лежит только, место занимает. Раз ты шьёшь, забери.

Она говорит это тоном человека, который отдаёт ненужное. Я беру ткань в руки и чувствую другое.

Ткань тяжёлая и плотная. На тёмно-бордовом фоне раскрывается старый узор: зелёные листья переплетаются с оранжевыми и синими линиями и сходятся в сложный орнамент. От неё пахнет старым шкафом и сухим деревом. Первые секунды она прохладная, потом согревается в руках.

— Какая красивая, — говорю я искренне.

Она пожимает плечами.

— Раньше всё качественное было.

Больше ничего. Ни улыбки, ни продолжения. Мне и этого хватает, чтобы достроить внутри целую историю. Я уже вижу себя включённой в их линию.

Домой я везу свёрток на коленях и всю дорогу держу на нём ладонь. Дома я разворачиваю ткань на кровати и рассматриваю при лампе. По краю идёт полоса чуть светлее остальной, выгоревшая за годы у окна. В одном месте нитка вытянулась и торчит петлёй, и я осторожноправляю её обратно иглой.

Я думаю о женщине, которая купила этот отрез и так и не решилась его раскроить. Что она собиралась из него сшить, почему передумала, сколько раз этот свёрток перекладывали с полки на полку, переносили из дома в дом и пересыпали от моли.

Маме я показываю ткань в тот же вечер. Она разворачивает её двумя руками, осторожно, и на секунду замолкает.

— Очень красивый отрез. Смотри, как сохранился.

Она проводит ладонью по поверхности, поднимает край и смотрит, как он падает обратно.

— Из неё надо шить не что попало. Тут фасон нужен. Юбку-солнце можно сделать. Она будет струиться, талию подчеркнёт, а вниз пойдёт мягко. Женственно очень.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.